МИЛОРАД
ПАВИЧ
Пейзаж, нарисованный чаем
АЗБУКА-КЛАССИКА

# Милорад Павич
# Пейзаж, нарисованный чаем

*Текст предоставлен правообладателем*
*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=142053*
*Пейзаж, нарисованный чаем : [роман] / Милорад Павич: Азбука, Азбука-Аттикус; Санкт-Петербург; 2016*
*ISBN 978-5-389-11804-1*

## Аннотация

Один из крупнейших прозаиков XX в., сербский писатель Милорад Павич (1929–2009) – автор романов, многочисленных сборников рассказов, а также литературоведческих работ. В романе «Пейзаж, нарисованный чаем» Милорад Павич ведет читателя улицами Белграда, полными мистических тайн, и рассказывает изящную историю разлуки влюбленных и их соединения. В сюжете причудливо переплелись явь и сон, история и современность, притчи о святых и рассказы о бесчисленных искушениях лукавого. Любители кроссвордов могут прочитать этот роман по горизонтали или по вертикали – от этого зависит результат.

# Содержание


Книга первая 5
1 5
2 35
3 62
4 77
5 100
Конец ознакомительного фрагмента. 118

# Милорад Павич
# Пейзаж, нарисованный чаем

Милорад ПавиЋ
Предео сликан чајем

© Павић М., 1988
© Вагапова Н., перевод на русский язык, 1998
© Грецкая Р., перевод на русский язык, 1998
© Издание на русском языке,оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

* * *

# Книга первая
# Маленький ночной роман

## 1
## *Концы усов у них висели как плети* (Кругом одно горе, и все мы в нем точно рыба в воде)

*Концы усов у них висели как плети. Поколение за поколением жили они без единой улыбки, и годы помечали морщинами лишь верхнюю часть их лиц, и старели они не от удовольствий, а от мыслей.*

*Говорят, иудеи прозвали их эдомеями. Сами же себя они называли – «соль». Много времени пройдет, пока человек съест горстку соли, – вот что они имели в виду. Эдомеи отличались терпением. У них было два знака – знак Агнца и знак Рыбы. Агнцу посвящались пироги, замешенные на слезах, а Рыбе – обручальные кольца из теста (Рыба – невеста души).*

*Разделение это случилось не вдруг. Четыре или пять колен прошло, пока один из них сказал: «Ничего нет на свете лучше говорящего дерева. Ведь дерево дает плоды обоего по-*

*ла. По ним можно отличить тишину от молчания. Ибо человек, чье сердце полно молчания, совсем не таков, как тот, чье сердце исполнено тишины…»*

*Антиохиец, сказавший эту фразу, едва успев ее произнести, без страха и ненависти принял смерть от зубов хищного зверя, как и его соплеменник Игнатий, в Риме в 107 году нашей эры.*

*Разглядывающий пшеничное зерно не видит скрытого в нем знака, а обозначено там, какой из зерна выйдет колос, сколько принесет новых зерен, а сколько плевел. Так же точно и во фразе антиохийца нельзя было ничего заранее вычитать, но сказано было все.*

*Эдомеи существовали в постоянном страхе. Спасение от него приносил лишь краткий сон, если он их посещал. Но и во сне их преследовали чудовища с пятнистыми мордами и пупками вместо глаз. Подобно тому как утопленник стремится выброситься на сушу, несчастные пытались вернуться к реальности, но то и дело налетавшие волны упорно вращали их все в том же водовороте. Только их тела, гонимые от одного наваждения к другому, из реальности в сон и из сна в реальность, связывали эти два кошмара. Они словно передавали послания в двух направлениях, не сознавая, что сны – впрочем, как и эдикты императоров Септимия Севера, Максима Фракийского и Валерия – неумолимо гонят их под сень дерева, о котором говорил антиохиец. Эдомеи бежали в пустыни, дабы не быть прибитыми к кресту*

*или к крыльям ветряной мельницы, брошенными на растерзание диким зверям; они скрывались, чтобы не разбивать головы о крепкие двери темниц, не отдавать свои пальцы, уши и глаза на съедение хищным рыбам в водоемах.*

*Рассыпавшись по бездорожью в Сирии, Месопотамии и в Египте, согреваясь по ночам собственными длинными волосами, пропущенными под мышки и завязанными узлом на груди, эдомеи прятались под пирамидами, укрывались в могилах и среди развалин древних крепостей. Добредали они и до гор Верхней Тебаиды, что стоят между берегом Нила и Красным морем, где обитают двоякодышащие рыбы – охотники на птиц. Им случалось говорить по-коптски и по-еврейски, по-гречески и на латыни, по-грузински и по-сирийски или же молчать на всех этих языках. Бессознательно, но неуклонно, подобно ростку в пшеничном зерне, продвигались они по направлению к дереву из упомянутой фразы. Наконец они добрались до Синая. И тут только им открылось значение слов:*

*«Чье сердце полно молчания совсем не таков, как тот, чье сердце исполнено тишины…»*

*Лишь только первый житель пустыни присел в собственной тени и вкусил первой росы, эдомеи разделились по признакам Рыбы и Агнца. Отныне и до века стали они делиться на две касты. На тех, кто ближе к Солнцу, и на тех, кто ближе к Воде, на тех, что следует за Агнцем, и тех, кто следует за Рыбой, на тех, в чьем сердце властвует ти-*

*шина, и тех, в чьем сердце царит молчание…*

*Здесь же, на Синае, первые объединились в братства и начали жить сообща. Этих, согласно греческому «коинос биос» (общая жизнь), стали называть киновитами, или общинниками. Вторые, те, что предпочли знак Рыбы, назвали себя идиоритмиками, или одиночками. У каждого из них была своя крыша над головой, собственный образ жизни и ритм существования. Отделенный от прочих, всякий из них проводил свои дни в полном одиночестве, унылом, ничем не нарушаемом. Две породы – общинников и одиночек – отбрасывали длинные тени через пространство и время. Ибо нет резкой грани между прошлым, которое растет, поглощая настоящее, и будущим, которое, судя по всему, отнюдь не является неисчерпаемым и непрерывным, но с какого-то мгновения начинает уменьшаться и проявляться импульсами.*

*Идиоритмик, отправляясь в дорогу, прятал под шапкой свою миску, во рту – чужой язык, а за поясом – серп: так поступают одинокие путники. Киновиты, напротив, несли по очереди кто котел для пищи, кто общий язык за зубами, а кто и нож за поясом: так делают те, кто путешествует не один.*

*Путешествия эти происходили скорее во времени, чем в пространстве. Плутая во времени, одиночки тащили с собой камень молчания, общинники же волокли камень тишины. Камни передвигались каждый сам по себе, поэтому*

*молчание одних не было слышно в тишине других.*

Ведь каждый идиоритмик молчит сам по себе, а киновиты хранят свою общую тишину. Одинокие люди возделывают молчание, словно пшеничное поле: вспахивают, открывают его пространство, углубляют борозды, поливают, чтобы зерна взошли, чтобы колосья вытянулись как можно выше, ибо только молчанием можно достичь Бога, но не криком, хоть ты надорвись кричамши… Напротив того, общинники не направляют лелеемую ими тишину навстречу Богу, но воздвигают ее, точно плотину, перед той частью мира, которая им не принадлежит и которой они хотят завладеть; они ограждают себя тишиною, защищаются ею или же насылают тишину на свою добычу, как охотничью собаку. Помня при этом, что охотничьи собаки бывают и хорошие, и плохие…

«Кругом одно горе, и все мы в нем точно рыба в воде», – думал неудавшийся архитектор Афанасий Свилар, ощущая сорок пятый год своей жизни, как запах чужого пота.

С 1950-го по 1956 год он учился в Белграде на архитектурном факультете. Тогда-то он и выяснил, что верхняя губа дана для одного, а нижняя для другого: верхняя чувствует горячее, а нижняя – кислое. Он слушал математику у профессора Радивое Кашанина и ходил в вязаной шапочке со свистком на затылке; одновременно он посещал лекции профессора Маринковича по бетону и научился без-

ошибочно определять женщин, которые к ужину предпочитают усы. Многим запомнилась защита его диплома, шумная и необычная, расколовшая факультет на сторонников и противников Афанасия Свилара. Еще студентом он приметил одну неотразимую черту великих писателей: умение молчать о некоторых важных вещах. И Свилар применил это в своей профессии: неиспользованное пространство, равное ненаписанному слову в литературном произведении, у него приобрело свою форму, а пустоты получили очертания и смысл, столь же активные и действенные, как и застроенные площади.

Прелесть пустот вдохновляла его на создание красивых построек, и это накладывало отпечаток на все его проекты. Увлеченный теорией групп, механикой сплошных сред и особенно акустикой замкнутого пространства, он стал, по мнению компетентных лиц, просто блестящим специалистом своего дела. Известно было, что со Свиларом шутки плохи: понадобится, так пройдет по воде и огонь во рту пронесет. Особенно были замечены его проекты благоустройства прибрежной полосы Белграда, основанные на предпосылке, что река как среда обитания всегда древнее, чем возникший рядом с ней город. В его постройках окна открывались, как бойницы, – в направлении от цели к глазу, а не наоборот – от дома куда попало, как это обычно делается. Он полагал, что юмор в архитектуре так же необходим, как соль на хлебе, что нужно строить по одной две-

ри на каждое время года, а полы настилать дневные и ночные, ибо по ночам звук распространяется вниз гораздо скорее, чем вверх; что крышу выводить надо не только по солнцу, но и по лунному свету, ибо хороша только та крыша, под которой яйцо не протухнет. Волосы у Свилара были как сено, а сон – скорый и такой крепкий, что хоть стакан об него разбивай. Левый глаз его старел быстрее правого, и ему пришлось завести очки, чтобы закончить проект отеля для холостяков и набросок картинной галереи, которая хоть и была объявлена на конкурсе самым экономным решением, тем не менее никогда не была построена.

Действительно, проекты Свилара как-то не шли. Год за годом они пылились в его квартире, свернутые в трубку и сваленные в стенные шкафы или зажатые между двойными дверями. Сын Свилара называл их «зданиями, которые не отбрасывают тени».

«Он проектирует и рассчитывает на этом свете, а дома строятся уже на том», – злословили его сверстники, чьи ямочки на щеках постепенно сменялись морщинами. «Я-то знаю, что у меня слов в запасе больше, чем овец в загоне, – подшучивал и сам Свилар, – не могу только понять, почему я никому не нужен…» Но, по правде говоря, ему было совсем не до шуток. Несмотря на безусловно высокую профессиональную репутацию, колоссальную работоспособность, которая словно слизывала его одежду и волосы, Афа-

насию никак не удавалось найти постоянную работу по специальности. А между тем капли времени не стряхнешь с лица рукавом, это ведь не капли дождя. Они остаются навсегда.

Точно так же нет человека, у которого слезы стоят только в одном глазу.

Что касается Свилара, то было неоспоримо еще одно. А именно то, что очень рано, едва только у него на лице вырос грубый мужской рот, такой широченный, что Афанасий мог поймать им собственную слезу, он заполучил сенную лихорадку. С тех пор она на него нападала каждую весну. Мучась сенной лихорадкой каждый год начиная с мая месяца, Свилар забыл цветочные запахи, но ароматы цветов и трав из его пота пробивались по ночам с такой силой, что не давали домашним спать.

Человек давно уже женатый, за двадцать лет вполне зрелого возраста он так и не научился жить на доходы от архитектуры. Правда, он преподавал в строительном училище, но это было вроде разговоров в пользу голодающих. Все свободное время он по-прежнему посвящал своим проектам. Днем застенчивый и разборчивый в еде, ночью он становился прожорливым, красноречивым и работоспособным до того, что ремень у него на спине прорастал плесенью. Если запотевали очки, он их просто облизывал, не отрываясь от работы.

Проходили годы. Он чувствовал, как меняется вкус его собственной слюны, понимая, что некоторые вина пробу-

ет последний раз в жизни. Он продолжал работать, ничего не видя и не слыша, но по-прежнему оставался на обочине своей профессии, отчего начал стареть с каждым новым ударом, как часы. Дважды в жизни, на двадцать четвертом году и на сорок втором, он выполнял обширные проекты – целые кварталы, но их никак не удавалось перенести с ватмана и воплотить в реальность.

Долгими летними ночами, доливая вино в воду (потому что лить воду в вино – грех), Свилар размышлял о прошедшей жизни и чаще всего задавал себе два вопроса: почему его всю жизнь преследует сенная лихорадка, от которой кажется, что чай отдает по́том, и почему ему никак не удается взять быка за рога в своей работе архитектора – работе, для которой он был создан. Точно правая рука в самом деле грешна и не ведает, что творит левая.

Однажды весной, в один из тех дней, что февраль занимает у марта, он наконец решился разыскать своего старого школьного товарища Обрена Опсеницу.

«Возможно, каждый человек в этом городе может что-то ответить на вопрос другого человека», – думал Свилар. Что, если для него этот человек-ответ – Обрен Опсеница? Он нашел его в одном ведомстве, распределявшем средства на строительство Белграда. На Опсенице был галстук с двойным узлом, его белые волосы на концах загибались, как удочки; улыбаясь, он зажмуривал глаза. Свилар помнил, что в школе Опсеница имел обыкновение неожиданно по-

вернуться к собеседнику спиной, а затем, вдруг извернувшись, ловко и сильно его ударить. Он был из тех, кто ест ножом, обходясь без вилки; такому ничего не стоит языком поменять косточки в вишнях, окажись они у него во рту. В отличие от прочих людей, которые по большей части думали о том, что им нравится, он постоянно держал в уме то, что ему не нравилось. Благодаря этой своей особенности, он всплыл на поверхность и оказался в рядах высшей городской администрации. Не нравились ему в первую очередь его ровесники. Подобно тому как некоторые люди одарены более других силой, быстротой или слухом, Опсеница был наделен сверхъестественной способностью питать и взращивать неприязнь к людям, при этом совершенно лишенную враждебных чувств. Эта-то неприязнь и направлялась на его ровесников, главным образом на тех, кто, обладая той же профессией, превосходил его способностями или профессиональными данными. Эту неприязнь (бывшую, как говорили, причиной его кашля) Опсеница никогда открыто не проявлял, хотя и вкладывал в нее львиную долю своей энергии и своего рабочего времени. Если неприязнь к кому-либо вдруг становилась явной, она тут же иссякала раз и навсегда. Тем упорнее и искуснее он скрывал свою неприязнь и, только убедившись, что это удалось, давал ей волю. Человек, павший жертвой его тайного, но интенсивного и непрерывного воздействия, становился чем-то вроде больного, подверженного постоянной инфекции, от которой он не в силах защи-

щаться, не зная ее источника.

«На кого Опсеница косо смотрит – у того все из рук валится», – говорили в кругах специалистов. С таким-то школьным товарищем и встретился Свилар в одно прекрасное утро, когда ветер поедал дождь. Здороваясь с Опсеницей, Свилар чихнул, они пожали друг другу руки и уселись за стеклянный стол. Афанасий передал приятелю свои последние проекты, прося обратить на них внимание при следующем конкурсе. Опсеница облизнул ногти, внимательно просмотрел принесенное Свиларом и как бы поддался на его уговоры, однако с тех пор Свилар ничего не слыхал ни об Опсенице, ни о своих проектах. В сущности, эти двое – один, бесспорно, что признавал и Опсеница, великолепный специалист в своей области, не умевший найти денег для осуществления своих планов, и другой, не имевший крепкой профессиональной репутации, но пользовавшийся большим влиянием на распределение средств, – должны были бы объединиться и достичь превосходных результатов. Между тем происходило нечто прямо противоположное. Свилар пришел к странному заключению. Он испытал на себе силу легендарного недоброжелательства Опсеницы. Но присутствовавший в нем оттенок личной неприязни словно исходил от кого-то другого. Подобно яду, заключенному во флакон, эта неприязнь лишь доходила до своей цели через Опсеницу, настигая и Свилара, и всех прочих, кому Опсеница ставил палки в колеса.

От таких мыслей однажды утром за завтраком у Свилара молоко свернулось прямо во рту, и он понял, что его призвание, его работа архитектора, выполняемая в нерабочее время, остающаяся только на бумаге, работа, осужденная заполнять лишь его досуг, превратилась в порок. Устыдившись своих чертежных принадлежностей и линеек, он с тех пор перестал притрагиваться руками к хлебу. Он стал есть хлеб из тарелки, с помощью вилки и ножа… Он начал забывать имена и не любил, когда при нем их часто упоминали. Он опасался, что заблудится в именах, как в лесу. Боялся, как бы не забыть и свое собственное имя, а то придется каждый раз, когда надо подписаться, останавливаться и припоминать, как тебя зовут…

Его преследовало одно воспоминание. Однажды в детстве, будучи с отцом в винограднике, он спросил, почему они перестали охлаждать арбузы в колодце.

– Колодец обвалился, – ответил ему отец, – ведь и колодцы, как и все живое, отживают свой век, а вода, как человек, может состариться и умереть. Здесь вода мертвая, надо копать новый колодец…

Теперь Свилару часто вспоминалась эта вода. Ему казалось, что он уже никогда не сможет перевести свои расчеты на твердую почву, тем более возвести здание. Он словно строил на воде. По утрам ему стало чудиться, что его улица не на том перекрестке, и он старался спать, касаясь рукой пола, точно желая из постели бросить якорь до самой зем-

ли. А проснувшись, он каждый раз заново ориентировался в кровати, как корабль, который ночная буря сбила с курса, соображая, в какую сторону света ему вставать. Страшась таких ночей, уносивших его неведомо куда, он стал отказываться от сна, что переносил довольно легко. Ночами он скитался по городу. Лицо у него стало бледным и прозрачным, родинки проступили под желтой кожей, как букашки, застывшие в янтаре. В немолодые уже годы, когда стало ясно, что вопрос не в том, как преуспеть, а в том, почему ему не удалось заняться своим делом, он не только отвернулся от дня, повернувшись к ночи, но и отвернулся от своего дома и обратился лицом к городу, в котором жил.

Вначале его ночные прогулки не имели никакой определенной цели. Он только замечал, что, бродя по улицам, следует правилам движения транспорта. Точно находясь в машине, он не сворачивал там, где был запрещен поворот, и обходил улицы, закрытые для проезда автомобилей. Ему иногда снились эти прогулки, и, высовывая при пробуждении из сна в реальность помятый язык со следами зубов, он понял, что все белградские улицы в его снах были улицами с односторонним движением. Желая развлечься, он придумал себе занятие почти неприличное, но зато придавшее новый смысл его походам.

Складывалось так, что, следуя скорее ночным звукам, чем направлению улиц, он несколько раз попадал в давно забытые места, где еще юношей встречался с женщинами.

Он заметил, что не может заранее определить эти места и вспомнить их наперед, но они возникают как бы сами собой и он набредает на них невольно.

Вот вход на освещенную лестницу, ведущую вверх, в темноту. Вот скамейка, прикрепленная к дереву цепью. Вот забор, и в нем неожиданно возникающая дверца окошечка. Он обычно быстро узнавал места. Значительно труднее было вспомнить женщин, с которыми он бывал в этих местах. И вот Свилар пустился в розыски сладостных заметок своей молодости. Он блуждал по старым белградским домам, которые Дунай, когда вода в нем стоит высоко, заливает, швыряя бочки о двери подвалов и вынося из них то висячие замки, то куски ограды, точно там внутри кто-то сидит взаперти. Иногда он распознавал в домах так называемые «собачьи окна» – окна, обращенные на восток, которые редко кто умеет распознать, а еще реже открыть в постройках. Через эти «собачьи окна» по праздникам кормят собак, а на Илью Пророка впускают погреться птиц. Он узнавал углы, на которых скрещиваются ветры, – замечал улицы, по которым весной дуют продольные ветры, а зимой им наперерез выходят поперечные. Милые воспоминания снова открывались перед ним, как те раковины, что раскрываются только в темноте.

Воспоминания возникали одно за другим, и он начал вносить в план Белграда особые значки на местах, узнанных им во время ночных бдений, записывая рядом и имена женщин, которыми он обладал в этих местах. Их слова и поступки

снова возникали перед ним вслед за этими воспоминаниями, и теперь они стали значить больше, чем когда-то.

«Прошлое лучше видится ночью, чем днем», – шептал про себя Афанасий Свилар. Он пришел к заключению, что все половые акты во вселенной как-то связаны между собой и даже находятся в неком взаимодействии. У него появилась надежда, что в посланиях женщин, с которыми он когда-то был близок, он найдет что-то вроде уравнения собственной личности, ответ на вопрос, мучивший его не меньше сенной лихорадки: почему его жизнь прошла впустую, зазря, несмотря на затраченные им огромные усилия?

И как ни странно, понемногу на плане города, на который он наложил карту своих любовных приключений, стало проявляться что-то похожее на ответ, на букву или цифру. Из тайных знаков, оставленных его семенем по периметру города, словно можно было сложить общий знаменатель всех черт его характера. Однажды вечером он наклонился над картой города и прочел это послание.

Обыкновенно в сумерки они приходили в полуразрушенный дом на Врачаре, от которого дожди всегда стекали в две реки сразу: в Дунай и в Саву. Он брал с собой бутылку вина и два стакана в кармане. Кончик ее косы всегда был мокрым: она любила сосать волосы. Они всегда прихватывали мгновение чистого неба, когда все птицы уже в гнездах, а летучие мыши еще не вылетели. Потом они входили в маленький

стеклянный лифт. Там была складная плюшевая скамеечка, крошечная лиловая табуретка, зеркало на дверях и светильник в виде хрустального стакана. Здесь пахло одеколоном и жидкостью для наклеивания мушек. Они усаживались, ставили бутылку на пол, нажимали кнопку и пили вино, провожая глазами проносящиеся вверх-вниз опустевшие коридоры и целуясь через ее волосы. Словно катались в обитой бархатом карете. Вокруг них падали американские бомбы и горела улица Святого Саввы. По окончании налета они шли посмотреть на новый город. Каждый раз перед ними открывались все более широкие горизонты, потому что исчезали целые здания. Однажды по оставшейся на стене картине и полке с книгами они узнали среди развалин, на четвертом этаже, комнату, в которой когда-то были в гостях и пили чай из сушеных яблок. Какой-то кран с того же этажа испускал воду, а полка с книгами раскачивалась не переставая. Книги одна за другой слетали куда-то вглубь и, трепеща на лету страницами как птицы крыльями, спускались в пепел среди развалин.

– Ты можешь прочитать, какая это книжка падает? – спросила она.

К этому моменту на полке осталась одна-единственная книга. Они ждали, пока она упадет, но книга только раскачивалась. Тогда он поднял камень и вместо ответа сшиб с полки эту последнюю книгу, как воробья снежком.

– Ты не любишь читать, – заметила она.

– Книги – это ум в картинках, – отпарировал он и удивился, услышав ее ответ:

– Ты любишь не читать, а рассказывать. Умеешь молчать. А вот петь не умеешь.

На улице недалеко от кладбища Святого Николая, в маленькой закусочной, чаще сменявшей вывески, чем клиентов, которые называли ее по привычке «В кредит», у него прорезались первые усы. Владелец имел обыкновение осенью поить своих гостей прозябшим вином. Как только начинала топиться печь, за лето наполнившаяся окурками, здесь открывали игру в лото. Однажды вечером, когда Афанасий впервые решился попробовать счастья в игре, в зал вошла девушка с очень черными сросшимися бровями, похожими на гребенку, – они словно были рассечены несколько раз по вертикали. Она стрельнула в него глазами, как в редкую дичь, и уселась, повернув к нему затылок со спутанными, вспотевшими волосами. Он заполнял свой листок для лото, прислушиваясь к таянию странной тишины, на минуту наступившей в зале с приходом этой особы, и наблюдал, как она засыпает на стуле и как во сне становится все моложе, как откуда-то со дна, откуда ведут счет ее годы, всплывает улыбка ее семнадцатой осени. Не отрывая взгляда от ее влажного затылка, он услышал, что выигрывает в лото, и понял, что он выигрывает. Он понял, что выиграет эту девицу, которая спала, сидя нога на ногу, и улыбалась во сне,

не выпуская изо рта изжеванной сигареты. Предпринимать что-либо было уже поздно. Выкликнули его цифру, и он выиграл в лото свою первую женщину. Он вывел ее на улицу, еще не проснувшуюся, вывел прямо на грязный и смрадный ветер. Когда они расставались при том же ветре, уже занималась заря. Она взглянула на него впервые при свете дня и сказала следующее:

– Я тебя вижу насквозь. Про таких говорят: «Вино не любит, да и воду мучит». Ты веришь, что будущее нарождается ночью, а не днем, и боишься рассветов… Хочешь, скажу, что ты сделаешь, как только мы расстанемся? Пойдешь прямехонько к шлагбауму, на рыбный рынок, покупать фаршированный перец с творогом, долго будешь выбирать рыбу, чтоб была из той реки, что течет с юга на север. Такая рыба вкуснее. Дома небось держишь свою посуду отдельно от прочей, да еще и моешь сам. Сам себе готовишь и ешь отдельно, потому что домашним твоя еда не по нутру. Когда обедаешь, ешь так, что за ушами трещит. Хорошо готовишь, режешь все подогретым ножом, как заправский повар. Знаешь даже то, что стерлядь, еще живую, надо напоить вином, тогда она жареная будет душистее. Суп ты любишь варить с сельдереем, такой тяжелый, что тарелку с места не сдвинешь. А уж если забредешь в трактир – конечно, ни своей компании, ни постоянного официанта. Усядешься за стол один и жрешь в три горла. А потом в такт музыке начнешь стучать по столу ногтями – будто вшей давишь. С то-

бой не разгуляешься. Цирюльники и кельнеры таких клиентов на дух не переносят…

Все тогда набросились на языки, как недавно обретшие дар речи на санскрит, – будто речь шла о жизни и смерти. С утра, до начала занятий в школе, зубрили французские неправильные глаголы из брошюр Клода Оже, продававшихся перед войной на улице Князя Михаила, 19, в книжном магазине «Анри Субр», где было представительство фирмы «Аметт». Вечером в затемненных комнатах изучали английское правописание по красным учебникам Бе́рлина. Немецкие падежи учили в школе по желтым шмауссовским изданиям. Ночью же, тайком, запоминали русские слова из старых предвоенных эмигрантских газет, которые выписывали во множестве жившие в Белграде беглецы из России. Эти уроки военного времени были дешевы, но небезопасны, потому что ни преподавать, ни учить английский и русский языки во время немецкой оккупации не разрешалось. Афанасий и его товарищи учили их тайком друг от друга, порой у одних и тех же преподавателей. В течение нескольких лет никто из них не произнес на этих языках ни единого слова: все притворялись, что на них не говорят и не понимают. И только после войны открылось, подобно тому как вдруг становится явным нечто постыдное, что, оказывается, все их поколение, в сущности, говорит по-английски, и по-русски, и по-французски. Когда же вскоре эти языки стали снова за-

бывать, их забывали демонстративно, ностальгически вздыхая о тех временах, когда их тайно учили. Французский преподавали толстые швейцарки – «сербские вдовы», – посылавшие в конвертах ученикам в качестве новогодних поздравлений отпечатки своих накрашенных губ.

На уроки русского языка потихоньку бегали к бывшим белым офицерам, к эмигрантам с Украины. У них были красивые жены, они держали собак и носили жесткие усы. На стенах у них висели, как огромные летучие мыши, бурки со специально вделанной рамой над плечами, чтобы рука с саблей могла свободно двигаться – их рука, теперь этой сабли лишенная. Такие учителя обычно любили петь под балалайку, успевая глотнуть водки между двумя словами так стремительно, что на песне это вообще не отражалось. Но ни Афанасий, ни его товарищи музыкой не интересовались – она им мешала разбирать слова, и они торопились вернуться к занятиям языком, что их уже само по себе опьяняло.

«Слова на людях растут, как волосы, – любил ему повторять учитель русского языка. – Слова, как и волосы, могут быть черными или каштановыми и даже втайне рыжими – красными. Но рано или поздно они побелеют, как волосы у меня и у моих ровесников. Со словами можно делать что хочешь, но и они с тобой поступают как хотят…»

Жена русского эмигранта, который так говорил, сохраняла в шелковом чулке пряди волос, которые успела остричь с тех пор, как уехала из России. Отрезав очередную прядь,

она завязывала на чулке узелок. Так она измеряла время. Со дня отъезда она не смотрела в календарь и обычно не имела понятия, ни какое сегодня число, ни какой день недели.

Однажды, придя на урок, он застал ее дома одну. По-сербски она вообще не говорила. Глядя на него своими прекрасными глазами, она покусывала пуговку на платье и посвистывала в нее.

– Как странно, что ты и твои ровесники учите столько языков, – сказала она ему по-русски, – и охота тебе утруждать себя? Точно всю жизнь без куска хлеба сидеть собираешься. Все вы, наверное, очень одиноки, вот и хотите состарить свою память. Только память у нас не круглая, в крайнем случае это круг с большими зазорами. Ваша память не вся одного возраста. Вы надеетесь, что знание языков свяжет вас со всем миром. Но людей связывает вовсе не знание языков; вы их будете дважды учить всуе и дважды забывать, как Адам. Чтобы понять друг друга, надо друг с другом переспать. – И она предложила преподать ему урок русского языка по-своему.

«Так вот где зарыта собака», – подумал он.

Она подошла к нему совсем близко и молча, глядя ему в глаза зелеными очами, обвила его шею своими косами. Она затягивала косы узлом все туже и туже у него на затылке, пока их губы не соприкоснулись. Прижимая его губы к своим, она заставляла его повторять одно и то же русское

слово. Такой у нее был немой контактный способ изучения иностранных языков. Потом она подтолкнула его к кровати и уселась на него верхом. Так он впервые узнал, как это делается по-русски. Было непонятно, но прекрасно. На улице шел снег, словно небо засыпало землю беззвучными белыми словами, и все происходило так, словно и она опускалась на него вместе со снегом с бескрайней вышины, все время в одном и том же направлении, ни на секунду не отрываясь, как снег или слово, которые не могут вернуться обратно на небо, в чистоту.

– Вот видишь, – сказала она ему потом, втягивая в себя воздух сквозь распущенные волосы, – для того, чтобы понять друг друга, язык вообще не нужен, вполне достаточно переспать. Но заметь: после блуда первый день живется хорошо, а потом с каждым днем все хуже и хуже, пока наконец не очнешься и не станешь таким же, как все прочие достойные граждане.

У этой красавицы улыбка была такая неглубокая, что если она смеялась, то собеседник просто натыкался на ее нос, как на мель. Когда она его поцеловала, он подумал, что это – один из тех поцелуев, которыми обмениваются участники поединка, прежде чем обнажить сабли.

Он на минутку выпустил весла и позволил воде крутить их по ветру. Лодка кружилась, и ветер потихоньку укладывал ее волосы вдоль шеи. В лодке с ними были щенок и га-

зета. Она прочитала в газете гороскоп своего щенка. Потом потянула дым из трубки, которую курил Афанасий.

– Обрати внимание, – сказала она, – как почувствуешь горечь во рту, непременно увидишь слева что-нибудь красное!

В эту минуту кончик ее волос попал в трубку, и искорка зашипела на золотистой пряди. Они легли на дно, и лодка стала их укачивать, все глубже загоняя его в нее.

«Какая ленивая, – подумал он, – ей даже любить лень». Ему показалось, что это ее манера заниматься любовью. И тут она вдруг сказала:

– Ты что, хочешь, чтобы волна вместо тебя сделала ребенка?..

В ту осень исполнялась еще одна седмица его лет, наступал еще один воскресный год, в который он обычно ничего не делал. Усталый и разочарованный, удалившийся от своей профессии, он с трудом уразумел, что и у лет тоже бывают свои циклы, свои дни рождений, свои регулы и что истекает еще одно семилетие его жизни, потому что семь лет назад он точно так же ничего не делал. От самой даты сотворения мира по-прежнему отсчитывались невралгические точки – седьмые годы, – что-то вроде пупков на времени. Такими точками одно время отделяется от другого времени узлом, а узел перекрывает питание последующего времени за счет предыдущего. Той осенью он высчитал, что уже три года без всяких видимых причин хранит верность своей же-

не, которая почти все это время с ним не спала. Он сидел дома, совершенно никому не нужный, считал ворон и изнывал от тоски, когда швейцарский архитектурный журнал, издававшийся по-немецки, вдруг ни с того ни с сего в нескольких номерах стал печатать информацию о его проектах так никогда и не построенных медицинских учреждений. Не удосуживаясь стряхнуть крошки с усов после еды и расчесывая бороду пятерней, он продирался через страницы «Fachblatt für Arhitektur DBZ», где была опубликована его статья о связях современного строительства со старинной городской архитектурой византийского региона. Он вертелся как бес перед заутреней, пытаясь узнать собственный текст. Тогда-то его впервые и прошиб жуткий мужской лохматый пот, от которого комары дохнут, полотенца плесневеют, а кошки исходят беззвучным истошным мявом. Он почувствовал, что его профессиональные данные тают, что они зарастают, как рана, отступают, как болезнь при выздоровлении.

Он подумал о том, что ему уже столько лет, сколько фраз в какой-нибудь новелле, испугался и начал крутить адюльтеры, такие короткие, что начало и конец их соприкасались.

Эта взяла его за руку, раскрыла ладонь и заговорила, точно издалека:

– У основания твоей кисти – а там надо нажимать, если заболит кое-что, что сейчас у меня внутри находится, – там на твоей руке площадь Славия. Между большим и указательным пальцем течет река Сава – тут лечатся боли в шее. Ука-

зательный палец соответствует улице Князя Михаила – здесь нервы и простуда. Средний палец – улица Йована, что ведет до башни Небойши. Если на него нажать, утихают боли в синусах, помогает от заложенного носа. В основании указательного пальца, где жилка бьется – площадь Теразие, – находится точка, которая отвечает за желудок. Безымянный палец ведет к мосту через Дунай, он отвечает за органы слуха, а мизинец – Таковска улица – за боли в плечах и в аппендиксе. Твоя линия жизни идет через Савский мост и здесь не то прерывается, не то ведет далеко на север. Запомни! Если заболит ухо, перейди по мосту через Дунай – сразу пройдет. Плечо заноет – пройдись по Таковской улице, и сразу перестанет… Но дело не только в болезнях. У каждой городской улицы – свой курс, как у корабля. Одни плывут за своим созвездием под знаком Рака на юг, другие – на восток, под Водолеем, третьи следуют за созвездием Близнецов… Твое тело подчинено улицам, а улицы – звездам. На ладони можно разглядеть все твои дороги и на суше, и на море. Но не город у тебя в горсти, а ты зажат в горсти этого города. Ты к нему привязан, как кошка к дому, и больше ничего не видишь. Ни весны, ни осени без него не прожил, по другой земле не прошелся. Ты не в силах оторваться от этого города. Так иногда женщина живет всю жизнь с одним мужчиной, не спрашивая, нравится ему это или нет.

Он клевал носом над тарелкой молочного супа с укропом

и, разглядывая ложку через пар, размышлял, от кого, собственно, у него сын – от Витачи Милут или от его законной жены Степаниды Джурашевич, по мужу Свилар. В ту ночь, когда он сделал своего сына, дело обстояло следующим образом. Тогда он был ловок, недаром говорили, что все у него в руках спорится. Дурная голова ногам покоя не давала, зато ушами не хлопал, но улыбка уже канула как камень в воду и кругов не оставила. Ел за обе щеки, карманы набивал огрызками ногтей и кончиками усов. В те годы он часто захаживал со своей молодой женой Степанидой поужинать слоеным ореховым пирогом на Калемегдан, в ресторан «Терраса». Там-то к ним и подошел однажды Мркша Похвалич, у которого лицо было такое узкое, что он мог сразу ухватиться за оба уха одной ладонью. Он им представил свою невесту, Витачу Милут.

– Перейдем на «ты»? – спросил новую знакомую Афанасий Свилар.

Она отпарировала:

– Если не далеко, почему бы и нет…

В Витачу Милут он влюбился с первого взгляда. Она послала ему и его жене воздушный поцелуй рукой в перчатке, на которой был вышит рисунок ее губ. Они стали встречаться вшестером: Афанасий со своей женой Степанидой, Мркша Похвалич с Витачей и еще одна пара – их общие знакомые.

В тот вечер, когда он сделал своего сына Николу, весь парк

Малый Калемегдан был залит лунным светом, на который с темноты входили точно в комнату. Проходя под воротами Деспота Стефана, кто-то сказал: «Звезды пляшут. Это к холоду!»

В это время его жена Степанида Джурашевич, по мужу Свилар, задержалась, разговаривая со своей спутницей, и он на минуту остался наедине с Витачей Милут, чей жених шел немного впереди, разговаривая с третьим приятелем. В темноте глубокого тоннеля, где с одной стороны слышно, как течет Сава, а с другой – Дунай, Афанасий неожиданно поцеловал Витачу Милут.

«Поцелуй не дороже слезы», – подумал он, но понял, что ошибся. За ужином Витача предусмотрительно набрала в рот вина и хранила его до этого мгновения. Обнявшись, они вместе с поцелуем допили этот глоток.

– Я следила за тем, что ты ешь, – шепнула она ему под язык, – и нарочно ела совсем другое: чтобы делать деток, надо есть разные блюда.

Он ощутил, как Витача пересчитывает его зубы своим языком, и понял, что она будет совсем не против, если все обнаружится, и даже готова бросить своего жениха хоть сейчас, не уходя из парка. Ее верхняя губка оказалась солоноватой от страха, нижняя – горьковатой, а сердце стучало, как у воришки. Ее ресницы царапали его щеку, бедро уперлось ему в живот. Афанасий выбрался из ворот Деспота Стефана совершенно очумелым, и, как только они снова разби-

лись на парочки, он, не успев стереть слюну Витачи Милут и возбужденный ею, тут же, в парке, сделал ребенка своей жене Степаниде с такой страстью, что сам до сих пор не мог разобраться, которой же из этих двух женщин принадлежит его сын.

Наутро, когда он осознал, что после того вечера не сможет забыть Витачу Милут, было уже поздно. Он кинулся к ней, но нашел ее в чужой постели. Накануне она впервые осталась ночевать у своего жениха, а потом переселилась к нему.

Так остался Афанасий со своей женой. И теперь перед ним сидел его сын Никола Свилар, украшенный волосами, похожими на белые перышки. В свои шестнадцать лет он тянулся так, точно черпал из тарелки дни и ночи вместо похлебки. Отец вот уже в который раз пытался определить, не проявится ли в мальчике нечто подтверждающее его двойное происхождение. «Если бы дети носили фамилию по матери, – спрашивал себя Афанасий, – какую фамилию должен тогда носить его сын – Степаниды Джурашевич, в замужестве Свилар, или своей „первой мамы“ – Витачи Милут?» Но пока Никола не выказал ничего такого, что можно было бы связать с Витачей Милут или с ее именем.

Свилар по-прежнему иногда встречался с Витачей Милут и с ее мужем, любовался ее манерой пить, впиваясь зубами в бокал, но ни разу не встретил с ее стороны ни малейших знаков расположения. Только однажды, когда они ненадолго остались одни, она, послюнив палец, пригладила бровки его

сына Николы, тогда еще совсем малыша, и произнесла следующее:

– Женщины делятся на тех, кто любит только сыновей, и тех, кто любит только мужа. Женщина сразу чует мужчину, для которого женские губы все равно что наусники. Все женщины стремятся к одним и тем же мужикам и одних и тех же избегают. Одних любят трижды – как сыновей, как мужей и как отцов, а других, кого мать не любила, не полюбит ни жена, ни дочь. Это – как у голубей, которые едят и пакостят одновременно… Уж сколько веков большая часть американских мужчин теряет невинность с негритянками, а в Европе, особенно в юго-восточной части, принято с цыганками грешить. Благослови, Господи, цыганок и негритянок. Ведь это доброе дело – уделить немного женской ласки мальчишке, которому любовь нужна как хлеб. С ними теряют невинность те, кого не любили и не будут любить. Мужчины твоего типа обычно хранят верность своим нелюбимым женам. Только ведь и жены вас не любят. Таким мужчинам остается одно – вечно искать свою деву…

Афанасий Свилар расставил на плане Белграда свои пометки. Ему показалось, что из полученной диаграммы дорогих его сердцу мест проглядывает какая-то формула, что-то вроде ответа на его недоуменные вопросы. Будь ему дано чуть больше времени, пусть даже один день, и он бы улучил случай заглянуть в свои архитектурные проекты и уви-

дел бы, что его планы говорят то же самое, что и его женщины. Он бы понял, что ключевые слова диаграммы гласят: *молчание, ночь, язык, отдельное питание, вода, город и дева*. Что эти слова дают некое уравнение его судьбы. Но этого не случилось.

В это время по улицам полетел шелк платанов, где-то далеко на Дунае заколосилась дикая рожь, посыпались острые семена бурьяна, с резким запахом зацвели «медвежьи ушки», и Свилару стало плохо.

Под золотистой поверхностью уже появившегося загара залегла лунным светом глубокая и постоянная бледность. Приглашенный доктор констатировал очередной приступ сенной лихорадки, обычный для весеннего времени, и, как и раньше, посоветовал уехать на море.

Несостоявшийся архитектор Афанасий Свилар и его сын Никола быстренько собрали свои пожитки, кинули в карман щепоть соли и снарядились в дорогу.

Дорога, как и все дороги, думала за них, прежде чем они успели на нее ступить.

# 2

# *Итак, первые века они жили в Синайской пустыне* (Ударь палкой по кусту – вырастет цветок)

*Итак, первые века они жили в Синайской пустыне. Но в одно прекрасное утро из одной стены в Константинополе выпал гвоздь, а за ним повыпадали из стен все гвозди во всей Византийской империи. Первый гвоздь, что потащил за собой все остальные гвозди, сдвинул с места и синайских монахов и погнал их на новое место. Вот как случился этот исход.*

*Однажды римский принцепс Петр, навсегда расставаясь со своим шлемом, напился из него вина. Он решил стать отшельником. И стал искать место, где его никто не найдет, где никто не знает его имени. Все ему говорили, что такого места в империи нет. Тогда ему явилась во сне женщина, обутая в собственные волосы, в рукавицах, сплетенных из своих же необрезанных волос, и сказала:*

*– Перемени имя, и один из пальцев тебя спасет.*

*Полководец, у которого на руках осталось только три пальца, долго ломал себе голову, как истолковать этот сон.*

*Наконец он пришел к заключению, что должен переменить свое имя Петр, что означает «камень», на нечто означающее прямо противоположное. Он выбрал воду и уселся на корабль, предоставив своему новому имени – водной стихии – вынести его куда ей заблагорассудится. Корабль прошел мимо острова Тасоса, разбился о подводные скалы и был выброшен волной на пустынный материк. Сам не зная, где он находится, Петр зажил в полном одиночестве, от которого шелушатся ногти, а брови седеют. Поделив все звуки, издаваемые его устами, на мужские и женские, он стал на праздники Пресвятой Богородицы произносить в своих молитвах только гласные, а на все прочие праздники – только согласные. Он так и не узнал, что ему суждено было жить и умереть на одном из трех отростков, или пальцев, полуострова Халкидика, на том мысе, который в античные времена назывался Акте. В Греции прослышали о его пустынническом подвиге. По рассказам, его выдали птицы, которых он научил говорить. Они поодиночке долетали до Константинополя или садились на мачты кораблей, причем самочки приносили с собой гласные звуки молитв, а самцы – согласные. На пристани, где стоял флот, каждое воскресенье птицы на мачтах щебетали «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся».*

*Удивленные и испуганные, мореплаватели отправились вслед за птицами и назвали полуостров Акте, где пустынником жил Петр, Святой горой. Но другие монахи не по-*

*шли бы по его стопам, не вынуди их к этому большая беда, из тех бед, перед лицом которых забывают и о хлебе насущном, а седых волос на голове прибавляется без числа, стоит только глазом моргнуть. Однажды утром все иконы в Константинополе оказались приподнятыми на копье выше, чем накануне вечером. В городе шептались, что приподнять их приказал сам басилевс, для того чтобы верующий сброд своими поцелуями не поганил лики святых. Но беда шагает нога за ногу, и вслед за левой ее ногой показалась и правая. В константинопольском порту бросил якорь корабль с монахами, изгнанными с Синая. Все монахи как один были иконописцы, и все из братства одиночек. По повелению императора всем, кто прибыл на корабле богомазов, было передано приказание – пить свои краски, а питаться деревянными досками для икон. С корабля сняли паруса и пустили его на волю волн. Императорские чиновники, выпроваживая иконописцев, насмехались: «Только тот, кто увидит самый зеленый из всех зеленых цветов, сможет вернуть корабль в пристань и спасти путешественников».*

*Но ни один из живописцев так никогда и не увидел самого зеленого из всех зеленых цветов, хотя он приносит счастье. Точно так же, как немногие умерли оттого, что открыли самый желтый из всех желтых цветов, который приносит смерть. Корабль, гонимый подводными ветрами, разбился о скалы у Святой горы, где богомазы частью утонули, а частью выбрались на сушу, держа в зубах свои бороды.*

*По всей империи начались страшные гонения на приверженцев икон. Сначала солдаты сняли икону с Влахернских ворот при въезде в город, потом дошла очередь до икон из церкви всех церквей и, наконец, до прочих храмов Константинополя и всей обширной империи. Вплоть до последней иконы, на которой был изображен сатана. Гвозди валялись на улицах повсюду, так что нельзя было пройти, не повредив ногу. Придворные стали прибирать к рукам имения монастырей и отдельных граждан, которые пытались сопротивляться и продолжали потихоньку держать в доме иконы, хоть и повернутые лицом к стене. Это были прежде всего монастыри с одиночными кельями, посвященные Богородице, и монахи-особножители, потому что именно они в уединении чаще всего пишут иконы. Ведь не случайно первым иконописцем стал святой Лука, изобразивший Пресвятую Деву. Монастыри, жившие по уставу общинников, гонения на иконы и на приверженцев икон не принимали близко к сердцу. Они спокойно взирали, как их собратьев-особножителей из Синая, из Каппадокии, из Константинополя и других мест сажали, словно каторжников или беглых рабов, на галеры без руля и без ветрил, которые, подобно первой, выпускались в открытое море. Течение всегда несло их одним и тем же путем на север (этот путь некоторые до сих пор называют «путь живописцев») через Эгейское море, пока водовороты не выносили их к Святой горе и не разбивали о подводные камни, как некогда пучина швы-*

*ряла об острый мыс последнего полуострова на Халкидике флот Ксеркса. Те из монахов-особножителей, кто пережил кораблекрушение, и создали здесь крупные монашеские поселения. Так центр монашеской жизни был перенесен с Синая на Святую гору.*

*Но только и здесь их доставали и длань императора, и его недремлющее око. Пришельцы, добравшиеся до Святой горы, не могли там возобновлять свой порядок жития по особым кельям, но лишь вступать в монастыри общежительного устава. Если же они основывали новые монастыри, их следовало посвящать Святой Троице и обустраивать на основах общежительного уклада. Ибо монахи-общинники терпимее относились к иконоборчеству. Они никогда не были особо связаны с иконописью, а в честь Богородицы зажигали только четвертую, женскую, свечу, после того как были зажжены мужские свечи, посвященные Великой Троице христианской Церкви. Потому и иконоборцы, имевшие власть, смотрели на таких монахов сквозь пальцы. Если дело доходило до избиения, общежителям доставалась только одна оплеуха из трех. Так продолжалось всего лет сто. Достаточно, чтобы душе с телом расстаться, и не один раз.*

Был один из тех дней, когда сбывается пословица «Ударь палкой по кусту – вырастет цветок!». В такой-то день Афанасий Свилар и его сын Никола делали первый привал на своем пути. В маленьком доме родителей Афанасия в Матарушке

над дверью висел на счастье венок, через который подоили корову. На столе стояла горячая молочная похлебка с укропом, из которой выглядывали бараньи глаза. В этих глазах Свилар прочел, что на улице, где уже стало теплее, чем в домах, разросшийся папоротник предвещает еще одну тяжелую сухую весну с облаками цветочной пыльцы. Его собственный зимний голос в уже наступившем новом времени года звучал по меньшей мере странно. Все-таки это многовато – когда четвертая часть каждого года оборачивается против тебя…

Мать Свилара жила сейчас в доме одна. Высокая, красивая, с прозрачными руками и ногтями, которые пульсирующая кровь окрашивала розовым светом. Эти руки и их движения Свилар узнавал год за годом в своих руках и жестах, которые раздражали его знакомых и прежде всего жену.

Его отец, майор Коста Свилар, в 1941 году не вернулся с войны. Разнесся слух, что он погиб, что кто-то видел ночью на мосту через реку Ибар мужика, гнавшего перед собой барана, на которого была накинута майорова куртка. Мать Афанасия тогда присела на краешек кровати, словно перед дорогой, и так просидела несколько недель, словно собираясь куда-то отправиться вслед за мужем. Когда же этого не случилось, а ей даже из снов стало ясно, что его больше нет на свете, она позвала тех, кого кличут черными свахами, зловещих женщин, которые умеют хлопотать вокруг покойников, как лекари вокруг живых, передавая свое искусство

из поколения в поколение. Они всегда приходили из одного и того же ближнего села, что без кладбища, – из этого села многие умирали на каторге, а прочих уносило мутной водой туда, где и могил-то не бывает. Черные свахи молчали и говорили, держа во рту монетки. Они шептались о том, что нельзя зачинать детей в год, когда неурожай грецких орехов. Они умели снимать порчу и избавлять от страшных снов и лечили грыжу, поставив на живот больному стакан и сжигая в нем горстку шерсти. Они никогда не позволяли спрашивать, сколько лет было покойному («Мы же не лета его хороним», – говорили они), а на поминках всегда садились за дальний стол, за тот, который все ругают.

«Умирать, – говорили они, – так же трудно, как пахать. Человек весь изматывается, как никогда. А вокруг усталого труженика не грех и похлопотать, надо для него все сделать вовремя и по порядку».

И черные свахи стали все делать как положено. Так, кутью не могла варить женщина или девушка из дома усопшего, но одна из соседок, которая и впоследствии каждый год будет варить кутью на поминки. Если же она заболеет, то должна передать свою обязанность кому-нибудь помоложе. Подошли и соседи-мужчины, чтобы заколоть птицу и скот, и каждый принес с собой свечи. В дом внесли крест высотой в человеческий рост, одели его. Приготовили для майора Косты Свилара пустой гроб, в который положили его форму, его саблю и его фотографию. После этого вынесли поминаль-

ные блюда. Мясо от того, что летает, раздали детям, от того, что плавает, – женщинам, а от того, что бегает, – мужчинам.

До сорокового дня на чердаке покойникова дома стоял поднос, на который выставили гребень, стакан воды с сахаром и кусок хлеба с солью. Если по прошествии этого срока хлеб не съедал соль, а вода не выпивала сахар, это значило, что какие-то препятствия мешают покойному вернуться в дом. Наконец на Троицу за упокой души майора играл трубач, прилепив к трубе горящую свечу. Он играл, пока свеча не догорела до жести. Напоследок архитектор Афанасий Свилар раздал гостям все пуговицы со своей рубашки. «Покойник был рыжий, а про рыжих говорят, что их крестят, да не всегда отпевают. Ну хоть фотографию оплакали…» С этими словами черные свахи удалились, оставив родственников майора Свилара в одиночестве.

С тех пор прошло много времени. Волосы у матери Афанасия поседели, а пробор стал намного просторнее. Она слонялась по липким полам и половикам своего дома, которые ночью льнули к подошвам, точно намазанные медом. Ей часто снилась собственная постель, полная расколотых орехов и накрытая, как стол, на три персоны. Сегодня, как и прежде, они сидели за столом втроем, только вместо мужа и сына с ней были ее сын и внук. Афанасий Свилар сейчас был старше, чем майор Коста Свилар в тот год, когда его заочно похоронили. Теперь он все чаще думал об отце. Его путешествие с сыном имело определенное направление и цель, хо-

тя матери он об этом не сказал. Все это было связано с таинственным исчезновением майора Косты Свилара. Афанасий решил наконец, по прошествии стольких лет, разгадать судьбу своего отца, исчезнувшего во время Второй мировой войны. Поскольку врач прописал ему пребывание на море, он намеревался вместе с сыном пройти по тому же маршруту, что и воинская часть майора Свилара.

Последняя была в 1941 году расквартирована на границе с Албанией, и в начале войны, в соответствии с планом «Р-41», майор молниеносно перешел границу и углубился в неприятельскую территорию. В то время как на всех югославских фронтах отступали, он, ухватив зубами черта за хвост, упорно атаковал. Ничто не обходится так дорого, как маленький успех на фоне крупного поражения.

Вихрь этого успеха навсегда унес майора Косту Свилара неведомо куда. Согласно одному известию, полученному перед самым освобождением, в 1944 году, следы его затерялись после капитуляции югославской королевской армии где-то в Греции. И вот сын и внук майора Косты Свилара намеревались двинуться в этом направлении.

«Рождаются все одинаково, а вот умирают по-разному», – подумал Афанасий Свилар, собирая в дорогу свои болячки. Сын же его Никола прихватил гитару майора, набитую довоенными купюрами.

В тот вечер накануне отъезда из Матарушки они сидели за деревянным столом, еще прогретым недавно съеденной

похлебкой, и, тщательно скрывая от матери Афанасия цель своей поездки, разговаривали о посторонних делах. Наблюдая за сыном, Свилар думал о том, что у него заканчивается детство, и пытался его понять. Ведь детство не похоже на другие периоды жизни. В нем есть что-то от таинственности и недоступности будущего. Как только мы с ним расстаемся, детство становится таким же далеким, непроницаемым и судьбоносным, как будущее. Оно застилает один край нашего пути так же, как будущее застилает другой…

– Вступать ли мне в партию? – спросил его тогда сын.

– Не знаю, – ответил в замешательстве Афанасий Свилар… – Может быть, тут вообще не стоит давать советы. На все случаи жизни советов не напасешься…

– Как это? Был в партии тридцать лет, а теперь не знаешь? По правде говоря, мне твой ответ вообще ни к чему. Но я скажу, почему ты не можешь ответить. Именно сейчас, когда многие интеллигенты во всем мире становятся красными, ты устал от партии. Может, большинству КП выйти из нее и тогда ты снова вступишь? Извини, это уже элитарный подход.

– А тебе не кажется, что партия одним – мать, а другим мачеха?

– Ну если одни ведут себя в партии как в своем доме, а другие – как в гостинице… Тебе твой собственный чих дороже всего на свете. Люди наслаждаются жизнью, а ты хандришь. И ты не один такой. Таких много. Вот, в деревне есть

мастера что надо, хлеб пекут первоклассный, а до города никак не доедут. Вам все кажется, что за вас кто-то что-то решит, что ваше время еще придет. А ведь от вашего будущего одни рожки да ножки остались. Уж очень вы верили в свою судьбу, а получили – фигу с маком. Вы все жалуетесь, что вам ходу не дают. Да если бы мне во время войны было четырнадцать лет, я бы взял ружье и никого не спрашивал. Как с ружьями, так и с женами. Надо себе выбирать жену, а не мамочку. А вы не на тех женились, кого любили, и детей не с ними рожали. Вы как те скупердяи, что мелочь пососут, прежде чем с ней расстаться. Не знаю, окончательно ли заросла твоя дорога к счастью… Помнишь Витачу Милут, с которой ты расстался по дряблости характера?.. Тоже мне добродетель – верность супруге, которую не любишь! Хоть бы раз оглянулся вокруг да спросил бы себя, кому на ногу наступил. Живешь вот в своей скорлупе и ничего не ведаешь – ни кому дорогу перешел, ни кого задел нечаянно. Ваше поколение бездарно проело свой хлеб. Единственное, что оно дало, – это живопись. Только художники себя и проявили. Дада Джурич, Величкович[1], Любо Попович,

[1] *Владимир Величкович* (р. 1935) – известный югославский архитектор и живописец. Окончив Архитектурный факультет в Белграде, в 60-е годы работал в мастерской известного хорватского художника Крсто Хегедушича в Загребе. Фантастические интерьеры, натюрморты и пейзажи В. Величковича не раз выставлялись в Югославии и за рубежом. (*Здесь и далее – примеч. перев. Примеч. авт. оговариваются особо.*)

уехавшие во Францию, группа «Медиала» и Шейка[2], который тоже хотел уехать, да ему паспорт не дали… Они запечатлели новое время, они имеют право сказать, что их творчество росло вместе с ними.

Конечно, все эти дела с красками и кисточками меня не касаются. Но вас-то почему это не интересовало? Словно эти художники вам чужие… Что они сделали? Перенесли будущее из времени в пространство. Не поддались искушениям абстрактной живописи, стали писать, как древние живописцы, выщипывая волоски для кистей из собственной бороды, вернулись к земляным краскам, взглянули на человеческое лицо, как на икону, и в нем сумели разглядеть вас, которые их в упор не видели. Им удалось запечатлеть присутствие отсутствующих. У них собаки бегут по человеческим тропкам, отмеченным игрой света, а поросята распяты на анатомических столах наподобие трупов у Рембрандта.

Это был единственный случай в твоем поколении, когда люди чему-то или кому-то попытались противостоять, высказались в открытую, пошли против течения. Но общество осталось глухо к их прозрениям. Прочие же интеллигенты вашего поколения пошли в школьные учителя, и каждый нес свой крест в гордом одиночестве. Ты не пробовал себя спросить, почему твоя жизнь прошла впустую, как праздничный

[2] *Леонид Шейка* (р. 1932) – известный сербский художник русского происхождения. Окончив Архитектурный факультет в Белграде, примкнул к белградской сюрреалистической группе «Медиала». В Белграде состоялось несколько выставок живописи Л. Шейки, вышли его очерки об искусстве.

сон до обеда, точно ты воду в ступе толок? Почему город, в котором ты родился и вырос, считает тебя паршивой овцой? Почему ты в нем не построил ни одного здания, почему все они остались на бумаге, как мушиные следы? Твой отец, а мой дед Коста Свилар не был инженером-строителем, а просто воякой, он только и умел, что на скаку с коня помочиться. Но построил два дома – один в Белграде, другой здесь, а ты – нигде ни одного. Хоть бы один для себя выстроил, чтоб не умереть в чужом доме!

«В такие дни самая смирная змея ужалит», – думал Афанасий Свилар, слушая, что ему выкладывает сын, этот мальчик, который все еще обожал виноград, прогретый солнцем, и спелые персики прямо с ветки на припеке, в которых чуть ли не повидло кипит. Афанасий оторопело смотрел то на сына, то на свои руки, лежавшие по обе стороны тарелки, и не узнавал их. Из рукавов выглядывали две ободранные гусиные головы, тщетно пытавшиеся заглотить вилку и нож…

Он выпил стакан воды и пошел спать. Вода ему показалась пустой и дырявой. Поутру он нашел в комнате с террасой, где ночевал Никола Свилар, следующее послание:

«Привези мне из Греции солдатскую гимнастерку. Они сейчас в моде. Если мне понадобится дед, я сам его найду. Счастливо. Никола».

Предполагая, что майор Коста Свилар попал из Албании в Грецию по морю, Афанасий Свилар направился на побе-

режье Адриатики. В Баре он погрузился вместе с машиной на объемистый черный пароход, который повез его на Корфу, наполняя его штанины холодным ветром, а ноздри – солью, пахнущей шафраном. Когда они двинулись от Итаки к Ионическим островам, он поставил на край палубы стакан вина, придерживая его пальцем. Красное вино в стакане вело себя в соответствии с волнением соленой морской воды и точно повторяло каждое движение пучины. В стакане была заключена копия морских волн.

«Так же точно и со мной, – подумал он, – я тоже помимо своей воли передаю какие-то волны».

Свилар ощущал вялость. Нездоровье и чувство постоянного голода притащились за ним с материка на Ионическое море, и он становился все более нездоровым и прожорливым, чувствуя себя как человек, съевший на свадьбе в капусте со свининой не только свиной пятачок, но и оставшееся в нем кольцо, и почти не думая о цели своего путешествия. Его снова одолевала сенная лихорадка. Звезды казались колючими, и приходилось без конца моргать. Он, правда, расспрашивал по пути в портах Кефалиния и Закинтос о югославской воинской части, которая тридцать пять лет тому назад отступала в этом направлении, чтобы соединиться с английскими моряками, которые в апреле 1941 года еще стояли на Пелопоннесе. Но все это было впустую, и не только потому, что люди на улицах были молоды и не могли помнить такие вещи, но и потому, что у каждого глаза, встреченно-

го им на пути, была своя глубина, как у водоема, и Свилару не удавалось найти общий язык с людьми, которые простоквашу едят ножом, а вилкой брови причесывают. Их слова, как птицы, устремлялись за своими путеводными звездами, но с того места, где обретался Свилар, не было видно ни их неба, ни их звезд. Высадившись на Пелопоннесе и войдя в струю горячего ветра, как в печку, он увидел на берегу два корабельных скелета, похожие на обглоданные рыбьи кости. Впрочем, в противоположность процессу поедания рыбы эти скелеты усилиями кораблестроителей постепенно обрастали деревянным мясом. В ребристой тени этих деревянных скелетов Свилар вошел в морскую воду, которая впитала пыль его странствий. Он смыл свои воспаленные глаза, жадно, как рыба, хватая ртом морскую пену и йодистые испарения, а потом улегся на берегу и заснул, заспав свое намерение продолжить расспросы в Фере и в Спарте. Сквозь сон он чувствовал, что толку будет мало, что от этого дождя урожая не будет. Однако морская вода защищала его от материка, а морские травы от береговых.

Разбудил его скрип тормозов на шоссе. Он открыл глаза и увидел красный «мерседес». Машина остановилась, и в открытое окно вылетел какой-то темный предмет. Потом из нее выскочили двое мужчин, волоча за собой высокого смуглого человека. Крепко держа его за руки, они прижали его к придорожной маслине, а девушка, что вышла из машины вместе с ними, расстегнула несчастному ширинку и до-

стала ее содержимое. Оказавшийся тут же водитель помочился на его мужское достоинство…

Изумленный Свилар свистнул в три пальца. Компания уселась в машину и умчалась в мгновение ока, оставив свою жертву на дороге. Второпях они никак не могли захлопнуть дверцу, в которую попали длинные светлые волосы девушки, хотя они несколько раз пытались их собрать, не останавливая машину.

– Они вам не причинили вреда? – спросил Свилар незнакомца по-немецки.

– Где тонко, там и рвется, – отвечал тот на чистом сербском языке, – обоссут тебе крючок, так потом семь дней не сможешь иметь дело с бабами. Хотя там, куда я еду, мне и не нужно никаких баб.

– А куда вы едете?

Вместо ответа незнакомец указал ногой на север. На вид он был ровесником Свилара, – как говорится, десять горстей соли успел съесть. Красивый, но не той женственной красотой, которая иногда встречается у мужчин, а наоборот, той мужественной, которую порой и дочери от отца наследуют. На шее у него висела связка жгучих, как огонь, мелких красных перцев, и все, что было на нем – от усов до ногтей и пуговиц, – было ими так пропитано, что от малейшего его прикосновения у других людей вспенивались уголки глаз. Свилар это моментально почувствовал.

Нагнувшись, чтобы поднять выкинутые из машины ве-

щи нечаянного знакомца, он увидел в траве гусли. Он поднял инструмент, представлявший, в сущности, огромный половник, обтянутый черной кожей, рассмотрел хорошенько и протянул ему, почувствовав при этом, как дерет руку от перца. Тут он вспомнил, что на корабле видел в группе немецких туристов человека с гуслями, и предложил страдальцу его подвезти.

– Ты знаешь отца Луку? – спросил тот, не успели они сесть в машину и тронуться.

– Нет, не знаю, – отвечал удивленный Свилар. Но владелец гуслей не унимался.

– Неважно, – заявил он. – Уж он-то тебя наверное знает.

«Ну, у этого в календаре всегда пятница», – подумал Свилар и решил лучше следить за дорогой. В ту же минуту его спутник, усевшись на заднем сиденье по-турецки, загорланил песню, аккомпанируя себе на гуслях. Песня была монотонная, слова нанизывались десятисложником. Ясно было, с одной стороны, что у певца нет слуха, но, с другой стороны, слух ему и не был нужен. На его инструменте была только одна струна, и с ее помощью он выводил нечто вроде припева или речитатива, используя всего четыре из семи нот. Это явно была одна из тех песен, которых нет ни в одном из сборников, но которые передаются певцами из уст в уста, подобно оспе. И действительно, это было похоже на заразу, на болезнь языка, переходящего с предыдущей фразы на последующую, которая хоть и говорит совсем о другом, но корежит-

ся и подгоняется под свою предшественницу. Невозможно было запомнить песню в том виде, в каком ее услышал Свилар, но она осталась в его памяти приблизительно как

## ЛЕГЕНДА О СЫНОВЬЯХ КАРАМУСТАФЫ

В те времена, когда в греческих школах еще преподавались различные способы лжи, Святая гора Афон находилась под началом злодея и разбойника Карамустафы-бега[3]. Карамустафа говаривал, что в неделе один день – Божий, а все остальные принадлежат ему. Был у него конь. Народ шептался, что по воскресеньям конь молится перед церковью. Карамустафа всегда держал в печи зажженный огонь, который он называл «София». Этим огнем он сжигал всех и вся, что ему было не по нраву. Время от времени Карамустафа посылал на Святую гору посыльного и угрожал сжечь Хиландар. А это был один из самых больших монастырей на Афоне, к которому легче всего было подойти с материка. Перед каждым набегом белых борзых собак, что держал Карамустафа, купали с бельевой синькой. Бег умел разрубить человека ножнами, как саблей. Душил не руками, а своей длинной жирной косой. Давно было известно, что Карамустафа водит знакомство о нечистой силой. В Африке ему встретилась обезьяна, из тех, которых можно видеть только один раз

[3] *Бег* – господин, землевладелец (*турец.*).

в жизни. Эти обезьяны время от времени наведываются на тот свет. Бег протянул обезьяне руку и дал себя укусить. С тех пор Карамустафа каждое утро призывал ходжу и требовал толковать пометку, оставленную обезьяньими зубами.

«Время жизни нам отпущено в долг», – говорил Карамустафа. Ночами он слушал, как его борзые хохочут во сне, а сам плакал, кусая саблю, оттого что у него не было потомства. Однажды, когда монахи из Хиландара привезли ему дань, он спросил, правда ли, что у них в монастыре еще со времен сербских королей растет виноградная лоза, чьи ягоды, огромные как воловьи глаза, помогают бесплодным женщинам. Получив утвердительный ответ, Карамустафа отправил с ними одну из своих борзых и велел кормить ее виноградом, потому что у него и собаки перестали плодиться…

Монахи взяли с собой суку, однако держали ее на корабле, ибо на Святой горе могут пребывать лишь те, у кого растет борода. Спустя девяносто дней они вернулись, и сука принесла семерых щенят.

После этого предзнаменования Карамустафа вонзил свою саблю в пень, оделся в покаянное платье, вымазал зубы черной краской и отправился на границу Святой горы. Вслед за ним везли на лошади под маленьким шатром его главную жену с пустой колыбелькой в руках. Монахи их встретили и поместили на границе хиландарского прихода, на северной оконечности Святой горы. Каждое утро жене бега приносили

виноград с той лозы, что растет недалеко от могилы Стефана Немани, у самой стены хиландарского храма Введения, на которую гроздья отбрасывают синие тени.

«Если родится сын, – обещал монахам Карамустафа, – он вам с моря огонь в устах принесет и свечу в монастыре зажжет, а потом весь свой век будет вам служить».

Надежды сбылись. Жена Карамустафы разрешилась не одним, а двумя мальчиками. Не давши слово, держись, а давши – крепись! Выходило так, что придется обоих сыновей отдать монахам… Много воды утекло с тех пор. У бега один за другим рождались дети. Он вернулся к прежней жизни и снова шагу не делал не взмахнувши саблей.

Первенцы его росли и подавали большие надежды. Их отчаянная смелость вошла в легенду. Но за безрассудством скрывалась тяжкая хворь. Один из братьев еще в детстве заметил, что слышит свист хлыста, а удара не чувствует. С другим случилось вот что. Когда ему было лет пятнадцать, на улице в Салониках какая-то девушка украдкой загляделась на него в свое зеркальце. Она прошла так близко, что ее длинные черные волосы полоснули юношу по щеке. Он заметил кровь на волосах незнакомки, но больно ему не было. И братья поняли, что лишены благодатного чувства боли. Они стали страшиться одного – погибнуть в бою, не чувствуя ран.

В первой же битве, когда Карамустафа взял с собой сыновей, они учинили страшную резню. Коней

под каждым из братьев меняли трижды. По окончании боя орда выкрикивала им здравицы. Братья же уединились в шатре и стали осматривать друг друга. Ведь они могли обнаружить свои раны только на глаз или на ощупь. Эти страшные глухие мгновения – от боя до осмотра увечий – настолько их ожесточили, что они остервенели пуще своего отца.

Но случилось то, чего никто не мог и предположить. Семнадцать лет спустя Карамустафа выполнил свое обещание. Как только его первенцы достигли совершеннолетия, он прибыл вместе с ними к воротам монастыря, чтобы постричь их в монахи.

«Что заставило бега так поступить?» – гадали под шатрами в турецких лагерях. Монахи же в кельях шептались о другом – о том, что будет, если они впустят в монастырь сыновей турецкого военачальника: «Откроешь двери, впустишь их – а следы-то за ними рысьи!»

– Ну, с этим справиться можно, – подал голос один из старших монастырских чинов, – как тут поступить, дело известное. Одному сыну доверьте ключи и деньги, а другому – крест и книгу. Первого поставьте домоправителем. Пусть ведет торговые дела, пусть распоряжается монастырским добром, монастырской казной, скотом, водами и землями. Но крест ему в руки не давайте, не воздавайте ему ни чести, ни хвалы, за столом сажайте на последнее место, имя его упоминайте пореже, язык распускать не позволяйте, пусть он у вас всегда на виду: чуть

что, и заменить можно… Другому сыну, напротив, за трапезой определите почетное место, крест и книгу пусть из рук не выпускает. Прославляйте его денно и нощно как знатока Священного Писания. Указуйте на него перстом как на самого чистого в помыслах, как на пример другим… Но ни ключа, ни казны ему не доверяйте, не давайте никакой власти. Все, что имеет, пусть хранится у вас. Пусть они с братом глядят друг на друга, как стоячая вода – что текла бы, имей она русло, – смотрит на сухое русло, которое стало бы речкой, имей оно воду. И пока они друг на друга косо поглядывают, можно спать спокойно. Если же они объединятся, да ключ с крестом повенчают, да поведут себя как единокровные братья – останется нам только погрузиться на корабль, прихватив своих ослов, чтобы в море хоть солониной полакомиться. Здесь нам больше житья не будет… – так толковал монастырский старец.

В назначенный день сыновья Карамустафы появились у врат монастыря. На шее у каждого была уздечка, а в устах – огонь с моря. Монахов одолели сомнения. Юноши торжественно вошли в монастырь в сопровождении слуг. Слуги несли за ними серебряный поднос, на котором покоились косы двух братьев, сплетенные воедино. И тут настоятель изменил свое решение. Он обратился к Карамустафе с мудрыми словами, воздавшими Богу – Богово, а бегу – бегово.

– Не мы дали тебе сыновей, – сказал монах, – и потому мы не можем их у тебя взять. Пусть их возьмет

тот, кто тебе их дал, – Всевышний…

Юноши, откусив кончики зажженных свечей, вернули огонь на море. Так они и не постриглись в монахи…

Рассказывают, что оба они погибли на реке Прут, будучи до последнего дыхания смертельными врагами. Один из них стал хазнадаром – казначеем турецкого войска, а другой – дервишем, лучшим толкователем Корана.

Ввечеру Свилар сидел со своим спутником в маленькой гостинице в Фере. Над столом покачивался светильник, прикрепленный к потолку собачьей цепью, дрожащий свет отражался в стаканах, снаружи волновалось Ионическое море, и ужин нарочно накрыли подальше от окна, в которое волна так и норовила швырнуть галькой и повыбить стекла. Попивая узо, гусляр рассказывал Свилару свою жизнь, брызгая слюной аж до самых своих прекрасных глаз. Что касается глаз, то он уверял, что они очень похожи на глаза его жены, которая, вообще-то, была старше его, но старела медленнее и теперь жила где-то в Германии, напоминая его таким, каким он был десять лет тому назад. Сам он был из деревни. В одиннадцать лет босоногим парнишкой ушел в партизаны и долго оставался с ними. Он уже почти встретил Победу с красной звездой на шапке, но тут произошло нечто, коренным образом изменившее его жизнь. Что случилось, гусляр не сказал, признался только, что наведывался домой вспахать свое поле и что об этом узнали. Опасаясь последствий

то ли этого, то ли чего-то другого, о чем он не хотел говорить, он не вернулся в свой отряд, а перебежал к четникам. Теперь ему пришлось проиграть с кокардой на лбу ту войну, которую он чуть не выиграл со звездой. Они отступали вместе с немцами до самой границы. И тогда новые товарищи ему сказали: «Во Франции тебе делать нечего. И вообще для всех стран-союзников ты слишком молод. Там теперь на несколько десятков лет у власти останутся те, кто воевал и победил, – ровесники твоего отца. Чей отец выиграл войну, тому в ближайшее время ничего не светит. Во Франции ты всего добьешься с опозданием лет на десять. Поезжай-ка лучше в Германию, там молодому легче пробиться. Тамошнее старшее поколение войну проиграло, вот твои ровесники и пригодятся. Не везде дождю идти, кое-где и мелкий дождик покапает…»

Говорят, душа у человека растет дольше, чем тело. Как борода. И как борода лицо снизу поддерживает, так и душа тело держит. Юноша оказался в Германии и начал зарабатывать на жизнь живописью, причем весьма своеобразно. Собственно, рисовать он не умел, точно так же как и свистеть. Но жене его пришла в голову одна штучка. Сначала это его ошеломило, а потом подсказало технику живописи, о которой в Германии до тех пор не слыхивали. Молодые супруги были влюблены друг в друга, особенно она по нему с ума сходила. Однажды зимой, по пути домой из какого-то ресторана, любовь настигла их прямо в парке на снегу, который

в этот день валил, точно подрядился. Тут-то ей и взбрело на ум расписаться, водя по снегу его «бананом» как авторучкой. Подпись некоторое время дымилась, как горячий чай, а потом оказалась вполне прочитываемой. Так и повелось: сначала жена рисовала этим способом разные узоры, а потом стала макать его «конец» в краски. Они писали таким вот образом картины на холсте, которые подписывали двумя именами. Картины расходились из-под полы по цене, превышавшей все ожидания.

Время от времени он позволял себе передышку и отправлялся в Грецию. В Югославию ехать боялся. Ездил все больше по монастырям, совершенствуясь в ремесле гусляра, которым владел еще его отец.

Только отец пел о сражениях, а он – об ангелах, о Деве Марии, сошедшей во ад, о Параскеве Пятнице и о прекрасном Иосифе. На этот раз он поехал вместе с компанией немцев, которые покупали его картины. Но ведь известно: с кем водишь дружбу, того не бери в дорогу. Он им надоел, и они его вышвырнули из машины.

– Такое со мной впервые, – завершил свой рассказ гусляр, имея в виду приключение с немцами, укатившими в «мерседесе», – а за первое бритье и цирюльник денег не берет.

Такова была история гусляра. Ясно было, что у него не все дома и серьезных дел с ним лучше не иметь. Сидя за столом, он уплетал невероятно острую еду, приправляя ее перцем из своего ожерелья. Неожиданно он спросил Свилара:

– А ты куда едешь?

Этот вопрос совершенно изменил судьбу Афанасия.

– Почему ты ищешь отца на Пелопоннесе? – удивился гусляр, услышав его рассказ. – Ведь в Северной Греции есть полуостров с монастырскими поселениями, которым за тысячу лет. На Святой горе, или по-гречески на Атосе, то есть на Афоне, полно сербских монахов и монастырей, я их видел собственными глазами. Если бы я, как твой отец, шел в сорок первом из Албании в Грецию, я бы, конечно, укрылся на Афоне у наших монахов. Может, он так и поступил? Вот где его надо искать.

«Оторви комару крылья, так и кишки вместе с ними выдерешь», – подумал Свилар, имея в виду свой ранее составленный план. Он, правда, засомневался, не в том ли дело, что гусляру в этом направлении как раз по дороге.

Вечером он улегся в комнате, снятой им в Фере, и долго думал, прислушиваясь к тиканью будильника на фарфоровом блюде, в какую сторону ему податься. Когда же будильник его разбудил, выяснилось, что гусляр, как тифозная вошь, переносит мудрость, распространенную в народе подобно заразе, ибо болезнь и есть истина. Как только они тронулись в путь, стало понятно, что деваться больше некуда. Решил ли он вернуться домой, не окончив дела, или послушаться совета гусляра, но ехать надо было на север, к Салоникам.

Наколотый на свое время, как бабочка на булавку, он так

и поступил.

# 3

# *Однажды ночью императрице Феодоре приснилось, что к ней в опочивальню слетаются ангелы* (Громы и молнии сплошь исхлестали и землю, и воду)

*Однажды ночью императрице Феодоре приснилось, что к ней в опочивальню слетаются ангелы с зубастыми бичами, с плетками-трехвостками, с удилищами и серпами. Ангелы принялись избивать спавшего рядом с императрицей императора. Разбуженная шумом их крыльев, императрица в ужасе проснулась и наяву увидела на ложе рядом с собой императора Феофила, полумертвого от побоев, в синяках и ссадинах. Он лежал весь в крови, облепленный перьями ангелов, и не слышал, как она его звала. Той же ночью все императорское войско утратило дар речи. Шесть недель ни один военачальник не мог издать ни одного приказа, ни солдат с солдатом поздороваться. С этой немотой, словно с пронзительным криком, константинопольская церковь всех церквей наконец очнулась от своего столетнего сна. Император приказал ввести ночные молебствия в честь Богородицы. В Святую Софию ввели двести*

*женщин с грудными детьми, и невинные младенцы молились за своих грешных родителей. Церковь церквей снова оделась иконами…*

*Гвозди были возвращены в стены империи, а иконы – в храмы. И монахи Афона пожелали вновь завести, как прежде, наряду с общинным житием и устав особножителей-пустынников. Ибо, покуда все братства на Святой горе жили общинами, там свирепствовал голод. Никто не обрабатывал землю, все занимались виноградарством. Так что вернуться к двойному уставу было просто необходимо. Только не так-то просто было это сделать по тем канонам, которые действовали на Святой горе. Потому что обители, в которых когда-то завели общинный устав вместо обособленного жития, уже не могли к нему вернуться. Из общинного устава выхода не было. По действовавшим канонам даже после того, как были отменены гонения на иконы, старые – уже преобразованные в общежитийные – монастыри не могли перейти к идиоритмии. Одиночное житие могли вводить лишь вновь основанные братства. И тогда грекам пришлось впустить на Атос варваров для создания новых монастырей. Недавно окрещенные монахи из славян имели обычай завязывать на волосах узелки – напоминание о дневных и ночных молитвах. Придя на Святую гору, каждый из них втыкал в землю свой отшельнический посох и ждал, не появятся ли на нем листья. Если листва на посохе не появлялась, это означало, что его*

*владельцу не суждено стать вселенским патриархом. Монахи уходили в отшельники или основывали новые братства. Так возникли на руинах прежних греческих монастырей новые, славянские: русский Русикон, сербский Хиландар, болгарский Зограф и другие. Все они теперь включали оба монашеских устава: и общинное житие, и одиночные кельи. Таким образом, появление славян на Афоне способствовало восстановлению равновесия, нарушенного во времена иконоборчества. Преобладание общинников в предшествующий период теперь умерялось присутствием тех, кто жил по одиночному уставу, во вновь основанных монастырях. Судьбу новых славянских монашеских поселений на Святой горе можно было проследить на примере Хиландара, который стал одним из четырех крупнейших монастырей на Афоне. Одним из тех, кто высоко сидит, далеко глядит…*

Громы и молнии сплошь исхлестали и землю, и воду, а потом отступили. Афанасий и его спутник двигались вслед за раскатами грома в машине, полной вспенившейся тишины. Ехали они по старинной дороге, проложенной путниками, что в течение столетий спускались с Балкан к Салоникам и дальше брели в восточном направлении, к славянским монастырям на Афоне. Вдоль дороги тянулась еще заметная цепочка караван-сараев и постоялых дворов, построенных для паломников, пришельцев из славянских провинций древней Византии. Семьи трактирщиков, из поколения в по-

коление поддерживавшие эту традицию, теперь открывали маленькие гостиницы вдоль побережья. Из их окон можно было увидеть залив, по которому когда-то выезжал прямо в море на белом коне защитник города – Димитрий Солунский, левой рукой по-кавалерийски придерживая поводья, а правой отсекая паруса у пиратских кораблей, нападавших на Салоники.

Пополудни Свилар и его попутчик добрались уже до Трипити, того самого места, где несколько тысяч лет назад Ксеркс приказал снять якоря со своих боевых кораблей, запряг в якоря пасшихся на берегу буйволов, пропахал таким образом канал, отделивший полуостров от материка, и провел свой флот в самое сердце греческих вод, не подвергая его превратностям бурь в открытом море. Теперь его путь обозначала полоса соленой земли, на которой не росла трава. Эта полоса и служила границей между Афоном и всем остальным миром. Говорят, эта граница вечна, как вечна сама соль. Здесь же, в местечке Урануполис, они оставили своего коня о четырех колесах, ибо на Святую гору прибывают либо по морю, либо пешком. Они отправились на поиски ночлега, рыбы к обеду и пристани, где с утра можно будет сесть на пароход до Кареи.

– «Рыба»? – переспросил один из греков, попивавших узо в редкой тени хилой лозы. Рукой, обмотанной четками, он указал в направлении башни X века.

Это, как выяснилось, было место, где говорили на языке

путешественников. Владельцев таверны звали Василия и Василий Филактос. Сербский язык они выучили по старым, пожелтевшим «проскинитариям» – путеводителям по Афону, которые сначала переписывали, а потом и печатали в типографиях их предки, принимавшие богомольцев. Хозяин сказал, что хозяйка сейчас принесет вина, а сам вынес книгу с подписями всех паломников, побывавших в таверне начиная с 1886 года. У него были расчесанные надвое усы, очень похожие на брови, тем более что усы и брови у него были одинаково подстрижены.

– Это – третья книга в нашей семье, – сообщил он. – Две предыдущие уже давно заполнены.

У хозяйки были полные руки, похожие на подошедшее тесто, с темными глубокими ямочками на локтях. Она была так красива, что даже собственный муж явно никак не мог привыкнуть к ее красоте. Он поведал, что его жена – существо необычное, с долгим дыханием, что живет она в больших промежутках времени: мысль, начатую сегодня, додумывает завтра, а день ее продолжается два обычных дня, да еще и ночь, после чего она спит двое суток подряд. Наливая им вина, женщина сказала, что оно настояно на смоле и на травке, которая осушает слезы, а в ушах вызывает приятный стук крови в переменчивом ритме, схожем с морским приливом и совпадающем с размером гекзаметра, древнегреческого стиха, ритм которого можно усвоить и не зная породившего его языка. Считается, что варвары, напившись

местного вина рецина (а оно упоминается еще в «Одиссее»), сразу начинали говорить гекзаметром, еще не успев научиться греческому. Заметив, что Свилара смущает странный запах ее напитка, хозяйка обратилась к нему, словно прочесывая его глазами:

– Никогда не пропускайте первого раза! Есть блюда, вкус которых можно оценить только по третьему куску или по последнему. А о винах иногда можно судить после того, как их пьешь два-три дня…

Она жарила рыбу, обваляв ее в кукурузной муке, для себя же приготовила на отдельной сковородке с кривой серповидной ручкой маслины с сыром и большой цветок бузины в хлебных крошках.

– Чтобы попасть на Святую гору Афон, – заговорила она, не отрываясь от своих сковородок и точно продолжая ранее начатую беседу, – вам нужны четыре визы. Первую, греческую, вы, надеюсь, получили в Белграде, а вторую – для въезда в Северную Грецию – в Салониках. Третью вы получите в Карее, как только перейдете границу между Грецией и Афоном. Название «Карея», то есть орешник, происходит от множества растущих там грецких орехов. Там находится резиденция протата – правительства духовного государства Афон, которое имеет международный статус, собственный суд и пользуется независимостью от греческих властей. Поэтому оно располагает собственной таможней. По административному делению Святая гора относится не к Афин-

ской патриархии, но к Константинопольской. Всего на полуострове двадцать четыре монастыря, а в правительство входят представители крупнейших, в том числе и вашего Хиландара. Протат состоит из глав четырех главных монастырей, и каждый располагает лишь четвертью гербовой печати. Они выбирают из своей среды «прота» – главу всего Афона, как бы премьера. Тот может заверить решения своего кабинета, только если соберет воедино все части печати и обмотает вокруг них прядь своих волос. Когда в Карее получите третью визу (а это единственное место на свете, где грекам и сербам отдается предпочтение – визы им выдаются вне очереди), останется четвертая, устная, которую труднее всего получить, – виза на вход в Хиландар. Там существует список лиц, которым, где бы они ни жили, воспрещено входить в Хиландар. Список невелик, но если вашу душеньку в нем запечатлели, в этот монастырь вам не войти никогда. Самое приятное: критерии, по которым составляется этот индекс, никому не известны. Ни один человек, идущий в Хиландар первый раз, как вот вы, не знает, есть ли его имя в списке.

Улыбнувшись так, что верхняя губа у нее точно приклеилась к носу, хозяйка начала своеобразную игру, сопровождающую обед. Ее супруг накладывал полные тарелки и при этом задавал вопросы, а она, согласно какому-то древнему обычаю, отвечала ему, прикрыв глаза руками.

Оба они были уверены, что путешественники знают эту

игру и с удовольствием ее принимают. На самом же деле их гости понятия о ней не имели.

– Кому отдать эту миску? – спрашивал хозяин, взяв в руки первую тарелку. Видно было, что весь ход этого маленького спектакля известен ему до мелочей.

– Угощай, не пожалеешь, – отвечала Василия, заслоняясь своими волосами и как бы не видя, о ком речь. – Это – молодому господину, чтобы у него дом всегда был полная чаша!

– А это кому? – продолжал спрашивать хозяин, поставив первую тарелку перед Афанасием.

– Себе! – отвечала хозяйка, отойдя к окну. – Чем больше съешь, тем больше жажда одолеет. Не в том грех, что съешь, а в том, что сотворишь! – В ее голосе слышалась усмешка.

– А это?

– Пожилому господину, чтоб помолодел! Чтоб не пустые были ясли у вола-трудяги! – И тарелка оказалась перед гусляром. Все хохотали, потому что хозяин раздавал тарелки как бог на душу положит, истолковывая слова Василии по своему усмотрению.

– Наевшись, можно и попоститься! – объявила Василия, придвигая к себе последнюю тарелку. Гостям же она особенно рекомендовала рыбу, потому что рыба всегда здоровее тех, кто ее ест. – Блаженно вино в ваших устах, – сказала она, подавая воду, чтоб смешать ее с вином. – Ведь эта вода – вечная, – добавила она, – это та же самая вода, которую ваш престолонаследник святой Савва купил еще в тысяча сто де-

вяносто восьмом году вместе с источниками. Он ее пил, когда вместе со своим отцом основывал монастыри на Афоне.

Так начался обед. Василия все время смотрела гостям в рот и беззвучно шевелила губами, провожая каждый кусок. После еды мужчины вышли в маленький садик с крохотным участком моря, в который падали маслины. Вся земля была пропитана их маслом. Они пили кофе за столиком, шатавшимся, как в качку на корабле. Неожиданно хозяин нагнулся и, подобрав горсть гальки, выбрал восемь черных и восемь красных камешков. Он разложил их на клетчатой скатерти, и началась игра в шашки. Потом вышла в садик и Василия с бутылкой вина и голубой тарелкой в руках. Она налила им вина в стаканы, которые они опасались ставить на расшатанный столик, а потом стала перемывать в тарелке мелочь, заработанную за последние дни.

– Знаете, – обратилась она к Свилару, вытирая драхму, – вы, наверное, думаете, что играете с моим мужем в шашки. А вот и не так. Мы перед началом игры даем камешкам имена наших родных. Они как бы играют вместо нас, и мы вместе с ними выигрываем и проигрываем. Камешек, против которого вы сейчас делаете ход, носит имя Адам, как мой отец. А эту дамку мой муж, конечно, назвал именем своей покойной матери. Вы тоже можете дать имена своим камешкам. И начнете лучше играть.

– Выиграл майор Коста Свилар! – воскликнул Афанасий, принимая условия игры и пряча выигранную драхму.

– Но помните, это не вы выиграли, а он. Купите ему что-нибудь на эти деньги.

– Что можно купить покойнику?

– Вы еще спрашиваете? Ведь вы идете на Святую гору, – заметила Василия и спросила: – А что, вашего отца нет в живых?

В ответ Свилар объяснил цель своей поездки и заодно спросил об отце.

– Стойте, стойте! – воскликнула, разволновавшись, Василия. Прядь ее распустившихся волос попала в стакан с вином. – Вы мне напомнили об одном случае, который, возможно, гораздо больше связан с вами, чем можно предположить. Во время войны как-то к нам в таверну во время страшной многодневной жары пришли трое нищих. Они были в грязи с головы до ног, но видно было, что эта грязь смешана с кровью. Они были немые, вернее, притворялись немыми. Один из них был очень высокий. Помню, ему ничего не стоило заметить, где мы прячем ключ за притолокой. «Уж слишком он силен для нищего, который якобы питается ежевикой с куста и ходит без пуговиц», – подумала я. И еще я заметила, что он не помочился перед сном, значит, не хотел крепко спать, чего-то опасался. Как только он лег, я подошла к нему и пригрозила его выдать, если он не признается, кто он такой на самом деле. Сначала он отпирался, а потом открылся. Я ему приготовила помыться, велела растереться маслом, побрила его и дала чистую одежду для него

и для его друзей. Он оказался офицером разбитой югославской армии. Конечно, я не думаю, что это и был ваш отец. Можно ли за это поручиться? Мой рассказ не к тому. Но этот случай – свидетельство того, что так бывало. И для вас важно услышать, куда они отсюда ушли… Они умоляли меня не выдавать их немецким властям и тайком провести до границы Святой горы. Договорились, что утром я их провожу и покажу дорогу. Но поутру они сделали один шаг, который им мог стоить жизни. Они заглянули к заутрене в здешнюю церковь и смешались с тесно стоявшим народом. Они стояли, окутанные ладаном, и слушали пение на греческом языке. И вот, хотя выдать свое негреческое происхождение и запеть по-сербски было равно самоубийству, один из них, тот самый, старший по чину, не выдержал. Он дал волю своему прекрасному голосу, от которого в церкви погасли свечи и изменились ароматы. Он стоял у самого входа, и от его пения, раздававшегося со стороны, всем стало казаться, что церковь стоит не на месте, надо бы ее передвинуть. Теперь вся деревня знала, что на заутрене кто-то пел по-сербски. Боясь, что кто-нибудь их выдаст оккупационным властям, я спешно проводила всех троих до Афонских гор. Дальше идти я с ними не могла. Ведь там, куда вы идете, женщин не пускают.

Там нет ни могилы старше трех лет, ни человека моложе восемнадцати. На третий год после похорон кости покойника омывают вином и складывают в склеп, чтобы освободить место на кладбище. Остается только имя, написанное

карандашом на лбу черепа. Там не похоронена ни одна женщина и нет существ женского пола, кроме птиц и растений. Нет ни сыра, ни молока, ни яиц, ибо уже тысячу лет, как нет ни единой коровы, кобылы или курицы. Мяса там не едят никогда, рыбу – по воскресеньям и по праздникам, хлеб замешивают раз в месяц и сохраняют так, что он не свежий и не черствый. За весь тысячелетний срок, пока существует Афон, один только раз на его землю ступила женщина. В тысяча триста сорок седьмом году басилевс сербов, царь Стефан Душан, посетил Святую гору, которая в то время принадлежала сербскому царству. Раздавая по пути золотые и серебряные сосуды, коней, одеяния, села, поместья и дарственные грамоты, он заехал в монастырь Хиландар, основанный его семьей. С ним была и его жена Елена. Но она побывала в монастыре в качестве царицы, супруги басилевса, а не в качестве женщины…

Гречанка неожиданно умолкла, и стало слышно, что набегающие волны шумят не так, как те, которые уходят. Вино, которое они пили, согрелось от ее тела, так как она держала бутылку между грудями. Свилар почувствовал, что это тепло его возбуждает. Он невольно взглянул на других мужчин и с удивлением заметил, что муж Василии Филактос тоже возбужден. Было ли это от того же тепла, Афанасий не понял, но зато было очевидно, что гусляра все это не волнует. Свилар даже подумал, что операция, проделанная с ним на шоссе, и в самом деле возымела свое действие. И тут он

поймал взгляд Василии. В падавшей темноте ее глаза светились, как два зеркала, и их взгляд, способный остановить часы или согнуть вилку, неподвижно покоился на лице гусляра.

– Не обижайтесь, если я вам дам совет, – продолжала Василия, словно очнувшись от сна. – Первое – вы, наверное, человек современный, раз не креститесь перед едой. Там, куда вы направляетесь, вам без этого будет трудно, вы можете попасть в неудобное положение. Подумайте об этом. А второе – это притча, которую здесь рассказывают паломникам. Вот она. В Хиландаре, по преданию, истина открывается на третий день. И люди, и вещи там проявляют свое истинное лицо, а шутка оборачивается правдой только на третий день…

Смотрите, чтобы вам хватило терпения на эти три дня. Ибо от мудрости не много корысти; мудрые люди достигают большего, чем глупые, не настолько, насколько они умнее, но гораздо, гораздо меньше. В жизни не так уж много места: протяни руки в стороны, и одна ладонь окажется на солнце, а другая в тумане…

Свилар и вправду почувствовал, что наступил час, когда одной рукой можно коснуться дня, а другой – ночи. Хозяин дал Василии знак стелить постели. Она постелила им на веранде, выходящей на море, и положила каждому в изголовье по красной шерстяной подушке. Хозяева пожелали гостям спокойной ночи. Уходя, Василия их предупредила:

– Будьте осторожны во сне! У нас говорят, что человек во сне каждую ночь забывает одного из тех, кого наяву любил…

Ее слова сопровождал звук свирели. Хозяин играл на двойной свирели, вырезанной в виде сплетающихся змей. Он удерживал звуки ноздрями, вдыхая воздух ртом. Казалось, что змеи высасывают из него душу, пьют его дыхание, и оно, выходя из тела, тихо насвистывает свое новое имя. Полузакрытые глаза музыканта были похожи на треснувший грецкий орех, и Свилару показалось, что змеи тоже плачут, потому что смерть болезненна и для того, кто отдает жизнь, и для того, кто ее отнимает, – как сигарета, гаснущая на ладони…

Музыкант начал зевать в свирель, потом чихнул в нее, погасил лампу и пошел спать. На берегу осталась одна Василия, и Свилар заметил, как она выплеснула в море вино из недопитого им стакана. Это вино стало укачивать его, постукивая в ушах, но перед сном он успел принять одно решение, причинившее ему легкие угрызения совести. Ему хотелось встать пораньше и уехать одному, не будя гусляра. В ту самую минуту, когда он об этом подумал, гусляр улыбнулся ему в темноте и, сверкая глазами, похожими на две черные бусины, сказал:

– Мне больше нравятся люди, которые возвращаются из Хиландара, чем те, которые туда идут. Да и самого себя больше люблю на обратном пути…

Поутру Свилар обнаружил, что спал разведя руки в стороны и скрестив ноги, словно прибитый к кресту. Он сразу понял, что проспал и упустил случай избавиться от попутчика. Но, обернувшись в ту сторону, где спал гусляр, он убедился, что там никого нет. Постель была собрана, а красная подушка пуста. Он снова был один.

# 4

# *Неизвестно, какой из двух монашеских укладов предпочитал греческий, дославянский Хиландар* (Эгейское море спокойно только по воскресным дням и по праздникам)

*Неизвестно, какой из двух монашеских укладов предпочитал греческий, дославянский Хиландар. Вероятнее всего, он опирался на идиоритмию, обособление, потому как был посвящен Пресвятой Богородице, и во времена гонения на иконы это привело к тому, что греки его разрушили. В один прекрасный день 1198 года правители и монахи святые Савва и Симеон Неманя выкупили эти земли и воды у сербского государства и принялись обустраивать монастырь. Святой Савва организовал свою паству на основах братства, придерживаясь строжайших норм монашества, и монахи в Хиландаре проводили свои дни в заботах о хлебе насущном с общей солью и не вели счета пчелам. Все у них было общее – очаг и вода, и даже еда в трапезной, где стояли каменные столы с выдолбленными углублениями для плошек и соли и бортиками по краям, чтобы не уронить хлеб.*

*Должно быть, такое устройство изначально нарушилось неким монахом-одиночкой, скорее всего греком, оказавшимся здесь случайно. Во всяком случае, как и в других монастырях Святой горы, исподволь менялся уклад жизни затворников и в Хиландаре. Монахи опять принялись обустраиваться и укрощать воду, сеять и жать, рыбачить и рыбу на хлеб класть, опять стали прислушиваться к подземным пределам Святой горы, где в земной утробе таились и пульсировали богатства – руды и драгоценные камни; на Афон вернулись привычные занятия одиночек, и Хиландар принял их вместе со всем остальным. Восстановленное равновесие между затворниками и общинниками впоследствии сохранилось надолго, и в Хиландаре всегда были приверженцы и того и другого монашеского уклада жизни. Лишь благодаря постоянному противопоставлению исконной обособленности одиночек от общинников Хиландар становился Хиландаром. И все решающие баталии – ключ ко всем важнейшим событиям и изменениям в монастыре – происходили от столкновения интересов одиночек и общинников, и получалось, что судьба решений обоюдных интересов одиночек и общинников зависела от того, какой из двух укладов в данный момент преобладает в Хиландаре. Различия между этими укладами ни в коем случае не проявлялись внешне, и хиландарские монахи сопоставляли эти различия с различиями между днем и ночью, при их допустимом равноправии, как у братьев и сестер или как у матери*

*с сыновьями. И подобно тому как дни и ночи не могут смешаться, так и монахи одного уклада не могли переходить в другой, но должны были навсегда, и на этом и на том свете, оставаться такими, какими приняло их монашество. И тем не менее одно исключение существовало.*

*Существовал способ, один-единственный и безмерно дорогой, общиннику превратиться в одиночку или, напротив, отказаться от обличья одиночки и облачиться в ризы общинника. Для этого надо было покинуть монастырь, уйдя вместе с новообращенными, на Святую гору переселившимися русскими, сербами или болгарами, изменить имя, перенять их варварский язык и в их монастыре поискать выход в некое время с иными тональностью, ритмом и укладом, дабы здесь начать все сначала. Короче говоря, греки становились болгарами, армяне – сербами или русскими, русские – греками, чтобы отказаться от прежнего чина и уклада. Иного пути не было. А уходили по двум причинам: чтобы оставить уклад, который в данный момент не был превалирующим, или чтобы в новом укладе они могли заниматься тем, чем не могли заниматься в старом. И лишь Хиландар не принадлежал ни одиночкам, ни общинникам. Хотя деяния монахов были различны. Как вино и хлеб.*

*Эти «трансвеститы», однажды перейдя в чуждый уклад и обитель, редко навещали свою бывшую братию; чаще других их встречали сербские монахи, ходившие по делам в чужие монастыри – греческие, болгарские или русские, где за-*

*ставали их в чуждых одеждах и в ином монашьем статусе и никак не могли привыкнуть к новому статусу этих отщепенцев. Они прекрасно знали, что́ эти отщепенцы и беглецы думают, однако не понимали, что говорят и на каком языке молчат. Хотя им хорошо были известны причины ухода их соплеменников в чужой монастырь и в чужой язык, а подчас и сами они являлись их соучастниками, всякий раз они как бы заново удивлялись тому, что эти беглецы действительно отказались от собственного языка, а не только от монастыря, хотя это должно было быть очевидным изначально как тем, кто оставался, так и тем, кто уходил. И дивились – может, даже и злились – те, кто не ушел, что не понимают конца истории. Потому что конец этой истории монахи излагали на каком-то чужом, непонятном им языке. И оставшихся это раздражало настолько, что по завершении дел они возвращались в свою обитель в недоумении, словно у истории об отступниках и не было вовсе конца, ибо рассказан он был чужим языком и потому казался концом не этой, а какой-то другой истории.*

– Эгейское море спокойно только по воскресным дням и по праздникам, – сказал Свилару монах в Ивироне, на маленькой пристани, где дожидался парохода, похожего на рыбину с сильно раздувшимися жабрами. Хиландарская гавань оттуда лежала в двух часах хода к северу, напрямик через

пучину, вглядываясь в азиатский берег поверх острова Тасос (о котором говорят, что хотя его с суши и не видно, зато с Тасоса сушу видно), потому что островитяне наделены острым зрением.

Хиландарский берег был плоский, грязный и кишел буйволами. А всего в шаге от моря, словно оно и не соленое вовсе, бушевала зелень. Она простиралась вдоль берега и поднималась вверх, к монастырю, кустистая, пахучая и местами превратившаяся в непролазные заросли крапивы, над жалом которой смеется только дурень. С разросшихся виноградных лоз птичий помет не падал на землю, а качался на листьях.

Афанасий Свилар сошел на берег, с коростой на губах и язвами от сенной лихорадки в ноздрях. Буря запахов, буйство растений и беспривязные дикие мулы сопровождали его; у черных буйволов красные глаза горели, словно свечи в темноте, и были видны далеко, хотя стоял полдень. Где-то неподалеку от старой башни, там, откуда не видно ни моря, ни монастыря, на пути Свилара упал камень. Потом еще один. Свилар ощутил страх одиночества и присутствие человека. Человек этот действительно появился, продолжая бросать перед собой камни. Волосы на голове у него были старше бороды, седые и толстые, наподобие рыбных костей. Глаза – цвета устрицы с лимоном – сходились у него на переносице, словно он только что втянул их через нос. В руке он нес торбу из грубой ткани, из такой же была и его одежда.

– Сколько до монастыря? – спросил его Свилар.

– Сколько достойно умирают, но кому это дано? – ответствовал старец. – Орех, брошенный в ручей у монастыря, окажется здесь за три минуты…

Кожа незнакомца была покрыта пятнами, точно бесцветные раны, а по одежде с прожженными дырами Свилар заключил, что незнакомец постоянно пребывает под открытым небом и потому покрыт птичьим пометом, оставлявшим седые пятна в волосах. В торбе незнакомца Свилар приметил куски коры и спросил:

– Собираешь ольховую кору?

– Собираю, – кивнул старец, и стало заметно, что нос его, зажатый глазами, словно бы стерт с обеих сторон.

– Красишь ею?

– Крашу.

– Сукно? – спросил Свилар и заметил, что мешок его дымится.

Старик улыбнулся одной стороной лица и сказал, словно сплевывая в сторону:

– Кто курит, не должен никогда смотреть в свою трубку…

Свилар не понял его и повторил вопрос:

– Что красишь?

– Дерево крашу.

По косице, завязанной в узел, Свилар заключил, что старец мог быть монахом, однако грубошерстная ряса на незнакомце была надета странно, подкладкой вверх, а рубашка под ней – задом наперед, так что застегивать ее можно было

только сзади, под одеждой, если вывернуть руки за спину.

Мелкие подвижные морщины пересекали лоб старца и подобно волнам пропадали в волосах. Морща лоб, человек гнал мысли от себя, подобно тому как кони, подергивая шкурой, отгоняют мух. Внезапно, словно отказали ноги, он опустился наземь, достал из мешка теплую лепешку и протянул Свилару вместе с солью из солонки, встроенной в черенок ножа.

– Так, говоришь, лепешка? – спросил он потом.

– Лепешка, а что?

– Вот видишь, – удовлетворенно ответствовал старик, пожевывая в глубине плотной бороды, которая не пропускала воду – хоть стакан вылей. – А я вижу ночью сон, – продолжал он, – будто забыл, как месить тесто. В самом деле, не месил с войны. И говорю себе утром, как поднялся, дай посмотрю, не забыл ли и впрямь. Теперь, коли ты говоришь, что не забыл, стало быть, верно…

На полуслове человек перестал жевать и отошел, словно хотел отнести кому-то оставшийся кусок. При этом Свилару показалось, что, вот так сзади застегнутый, старик идет задом наперед.

«Когда мы стоим, – подумал он, – то стоим ли мы или лишь пропускаем собственные шаги, которые отмеряют и сокращают наш путь?»

Свилар стоял и вдруг услышал необычный звук, словно бы шум воды, только где-то высоко в воздухе. Он повернулся

на звук и увидел высоко над собой, среди птиц, поселение за крепостными стенами, с домами, в окна которых проникает туман, с церквами, кресты которых со свистом терзает ветер, со входом через глубокие, вечно скрипящие ворота. С многочисленными башнями по углам, с обзором на три стороны и мостиками над безднами, горное поселение было наделено огромной волчьей силой; высосанные из подножия его стен, выступали, словно пот, грязные пятна влаги, зеленый лишай; вверх ползли муравьи, хомяки и кроты, а вместе с ними, словно толкаемые тем же давлением ввысь, лепились к крепостным стенам стоящие друг над другом дома и церкви, так что купола нижних пронизывали полы и стены верхних, множество деревьев и садиков зависло высоко в воздухе. И та же сила, которая всасывала и тянула все предметы вверх, на вершину поселения, собирала, как магнит, и впитывала в себя все звуки и голоса с нижних этажей, из леса – из всего, что окружало крепостную стену, перемалывала и перемешивала эти звуки, создавая один удивительно протяжный голос, как будто на этом месте постоянно слышалось звучное имя поселения, покрывающее словно шапкой его кровли. Проемы в виде креста (символы человека – окна – Христа), округлые или наподобие бойниц, были разбросаны, словно раздавленные мошки, по огромной, опоясывавшей поселение стене, заключавшей его в себе, как мешок – кости. Кое-где к стене снаружи лепились, словно гнезда, кельи, полы которых висели прямо в воздухе, чуть подпертые

перекошенными балками. Над этими кельями, так же прижавшись к стене, стояли другие, но покрупнее, тоже подпертые косо поставленными балками, опирающимися на нижестоящие кельи и с такими же, как у тех, висящими в воздухе полами. В других местах высоко в небо вздымались мостки, одним краем опирающиеся на крепостную стену, с висящим вторым концом, а по краям этих мостков стояли, подобно стражам, маленькие дощатые нужники, выделенные таким способом из святой ткани монастыря. И все это сплошь было сдобрено перцем живой и подвижной оспы птичьих стай. Словно мушки хаотично и отвесно карабкаясь по поверхности стен, минуя этажи, окна смешивались с удивительными паразитами, приросшими снаружи к камню и штукатурке, где были заметны внутренние повреждения и нарушения в ткани огромного строения, которое, похоже, имело по окну для каждой птицы на Святой горе и по двери для любого ветра. Кое-где можно было увидеть, как из трубы, прикрепленной к фасаду крепостной стены, высоко била вода, там, где должно быть очагу с глубокими дымоходами, просторными как комнаты. Было заметно, как огромная тень, отбрасываемая строением, меняла у его подножия климат, создавая вечер утром, зиму – весной, где ночь приходила прежде звезд, подобно тому как лето раньше всего наступает для сала. Из этих прохладных мест, где террасы верхних этажей выступали на локоть и ступеньками, чтобы встретиться и влезть один в другой, было видно, что одни кельи по-

вернуты к солнечной тени, а другие к лунной; можно было разглядеть, где стены возведены по-армянски, на солевой штукатурке, где – греческим способом, на молоке, где – по-сербски, на хлебе с вином; сквозь окна виднелись углы маленьких комнат, где не помещалась и кровать, «комнаты пятницы», где можно было лишь сидеть, и сидели в них только по пятницам. Были и другие, праздничные комнаты, для каждого праздника в году по одной, а над ними над обрывом возвышались двустворчатые врата, которые никуда не вели, но ими заканчивались и через них проветривались переходы, и только одна дверь – переход с комнаткой и с иконой Богородицы Вратарницы – открывала вход в монастырь.

Толстая стена была окружена маленькими, красиво перепутанными садиками, с аккуратными деревянными лежаками, с навесом и летними трапезными, с фруктовыми деревьями, со своим кусочком ручья, где журчание воды порождали камни, а то и с мостиком, и псом, черной лужей спящим на земле под лавкой.

Шагнув под высокую арку в двустворчатую дверь, где всегда стояла прохлада, поскольку солнце ниоткуда не достигало ее глубины, Свилар оказался в полумраке, заполненном иконами, окнами и дверками, где некоторые иконы крепились на петлях, как двери, а на других дверях иконы были нарисованы. Он открыл тяжелую дверь с замком наподобие маленькой пушки и оказался в огромном шкафу, полном граблей, вил для очистки источников, рыбацких сетей и земле-

мерных инструментов. Пахнуло застарелым потом и забытым зноем. Он закрыл эти двери и торопливо открыл другие, такие же, рядом с первыми, и те привели его на этаж, где слышались голоса. На вымощенной булыжником крытой террасе у дверного косяка стоял на пороге стул, на стуле сидел монах с напяленным на голову горшком, да так, что и лица не было видно. Другой монах стоял возле него и большими ножницами для стрижки овец отрезал пряди рыжих волос, которые огнем лизали края горшка. По полу волосы валялись как сухая листва… Заметив гостя, монахи прервали свое занятие, и тот, что с ножницами, посмотрел на Свилара как-то странно, как будто хотел убедиться, насколько тот лыс под волосами. Он протянул ему, как бы выдавая последнюю визу, конец веревки, которой был подпоясан, и, словно на поводу, повел мрачными переходами показать комнату для ночлега. Потом они сидели и пили кофе с мастикой и розовым рахат-лукумом.

– Притомились? – спросил отец Лука, монах с ножницами. – Путь не утомляет лишь того, кто может своей стезе перстом указать, куда сворачивать. Только таких, кого слушают дороги, мало. Обычно мы должны слушать дороги…

Пока монах говорил, было заметно, как он ежеминутно преображается. Волосы, цвета дыма, за ушами напоминали плесень и менялись в зависимости от времени дня, – казалось, что монах с каждым полднем чуть-чуть заметно, но стареет. С каждым произнесенным словом что-то в нем изме-

нялось: брови, глаза, колени, пальцы, цвет ногтей… Еще составляя фразу, он становился уже другим человеком. Будь фраза другой, был бы другим и он. Только если бы зевнул, остался таким же.

– Знаете ли, дорогой господин, – болтал отец Лука, – есть у меня храпящий пес. И никак не могу его отучить. Может, у вас есть какое лекарство? Неудобно, знаете ли, всегда меня будит. Здесь наша жизнь устроена так, что самая дорогая и редкая вещь – сон. Во всем Хиландаре за месяц со всех нас едва ли насобираешь десяток ночей сна. Ложимся чуть смеркнется, встаем – сразу после полуночи, на богослужение, потом до заутрени можно немножко подремать, а там уж и время послушанию. Потому и говорится: хорошо смотрите, кто для мира, кто – для монастыря! Кто не может копать да стыдится просить, пусть не приходит.

Отец Лука неприметно зевнул и остался безликим.

– Мы тут, знаете ли, кто как: бондари, виноградари, пекари, жнецы, пахари, садоводы, строители и прочее. Каждый отвечает за свое дело, и каждый свою часть обители, как борозду, обихаживает. А наш Хиландарский приход – недавно самолетами замеряли – занимает половину всей Святой горы. Оливы из высаженных, а им по тысяче зим будет, не все обобраны, а столько, сколько успеваем, и то, если по правде сказать, справедливо.

В то время как отец Лука говорил, Свилар с удивлением наблюдал за его носом – он перемещался по лицу, подобно

шахматному коню.

– Мы знаем, зачем вы здесь, – неожиданно прервал монах речь после одного такого конского прыжка, – к сожалению, мы в монастыре не так давно, чтобы сообщить вам все о сорок первом годе, который вас интересует. Я бы вас направил к двум монахам, которым кое-что известно об офицерах, перебежавших из Албании в Грецию. Один из этих монахов живет с нами, зовут его Варлаам, и он сам вас отыщет. Другого же нельзя назвать хиландарцем, потому как он странствующий монах и лишь изредка заглядывает сюда, однако в обитель не заходит. К счастью, на этих днях он тут поблизости, и он-то вам лучше всех поможет, как и вы ему впрочем. Я вам скажу, как его узнать. Меж четырех стволов натянул он кров, а дом так и не построил! Ремень свой он каждый день на другую дырку застегивает и рясу то как до́лжно застегнет, а то задом наперед наденет, чтобы ничто в привычку не входило. Он полагает, будто такое годится и для пороков, их тоже не следует отдавать привычке, а надобно оберегать от нее. Что бы там ни говорилось в вашем мире, иногда нужно и ребенка на мосту зачать, ради перемены надо и ночью позавтракать, хотя, говорят, это сокращает жизнь на день. Негоже к постели да к имени привыкать, и потому монах, о котором идет речь, ни в одном монастыре не гостюет более трех недель и всегда спит в деревянном ковчеге; чуть привыкнет к одному месту – тут же меняет имя и ищет новую воду. Проповедует каждый второй день, когда

постится, а в воскресенье – по-гречески. Монахи полагают, что он тем самым прячется от своих грехов, ибо, говорят, дьявол не может узнать того, кто перевернул пояс или застегнул на спине рубаху. Хотя кто знает?

Посреди разговора оба встрепенулись, словно заблудились. Свеча на столе оплыла, и Свилар увидел перед собой совершенно незнакомого человека – лишь нос шахматным конем скакнул по лицу отца Луки. Он тяжело поднялся – было неясно, кости ли его скрипят или лавка – и повел гостя на ужин. Летучие мыши и ночные птицы кубарем скатывались и бились в окна витринного лунного света в надежде, что смогут пролететь сквозь строение туда – на другую, светлую сторону ночи.

По пути хозяин объяснил Свилару, с кем тот будет ужинать. Кроме гусляра, а он уже третий раз приходит в обитель, приглашены к трапезе и на ночлег какие-то английские дипломаты, которые прибыли прямо из Греции. Ужин проходил в трапезной нижнего этажа, где полыхал огромный очаг, словно горела конюшня. Гусляр сидел за столом, и большие розовые лоскуты плясали на стене и умывали его, пока он знакомился и здоровался с англичанами и Свиларом, словно бы и его впервые видел. Один из старших гостей, английский консул из Салоник, между прочим католик, отлично говорил по-гречески, второй гость – его чиновник, молодой человек, протестант – носил красивые шелковистые усы, разделенные над губой словно пара птичьих крыльев, и пони-

мал по-сербски лучше, чем хотел показать. Во время молитвы перед трапезой англичане не осеняли себя крестом; было заметно: метить себя по восточному обряду они не желали, хотя из уважения к этому месту, где, очевидно, оказались не впервые, не хотели креститься и на свой, западный, манер – ладонью. Поскольку и Свилар не крестился, консул, как только сели за стол, громко, во всеуслышание задал вопрос:

– Я обратил внимание, что и вы не креститесь. Вы тоже католик?

«Между носом и подбородком всего-то места, чтобы прошла ложка, а это путь для стольких неприятностей», – подумал Свилар и ответил:

– Нет, я атеист.

На мгновение над столом воцарилась тишина, облепив его словно тесто, и стало заметно, как пламенеет огонь в бутылке с вином.

– Занятно, – продолжал консул, разделяя свою бороду на три части, – мне, конечно, известно, что сюда приезжают многие ваши писатели и культурные деятели. Это что, религиозное паломничество? Согласитесь, было бы несколько странно для подданных социалистического государства, которые к тому же и коммунисты, могу предположить, что и вы тоже…

В это время гусляр опустил бумажное полотенце в тарелку с чорбой и снял жир с поверхности жидкости. Затем он ак-

куратно удалил полотенце и съел ободранную чорбу, не прислушиваясь к разговору.

– Нет, это не религиозное паломничество, хотя есть и такое, – ответил Афанасий Свилар. – Хиландар, как и большая часть Святой горы, когда-то был частью сербской государственной территории, а сегодня – это часть ее культурной территории, если так можно выразиться.

– Да, я знаком с историей, – заметил англичанин, – меня только удивляет, что до сих пор я не встретил ни единого из ваших посетителей, который бы знал греческий язык. Несколько необычно для культурного паломничества в духе ортодоксальности, которое никогда не включает Византию, не правда ли?

– Это довольно трудно объяснить тому, кто сам не относится к этой ортодоксальности, – сказал Свилар, – я согласен, что для начала необходимо знать греческий. Однако существуют древние и веские причины, почему у нас не учат греческий в такой мере, как у вас на Западе. Здесь, откровенно говоря, не видно Трои, зато виден дождь, который идет над Троей. Мы здесь находимся рядом с тем, что долгое время считалось пупом земли. Сербский язык, наряду с греческим, латинским, коптским, армянским и некоторыми славянскими языками, стал одним из мировых языков очень рано, еще в девятом веке. Это вроде того, как дитя становится святым или редкая виноградная лоза дает плоды весной, а не летом. Отсюда чувство потребности в изучении

иностранных языков у нас не настолько развито, как у вас, чей язык никогда не причислялся к священным языкам, и вы были вынуждены веками изучать какой-то другой, чужой вам язык – латинский как язык своего Священого Писания. Здесь же, напротив, Византийская империя словно возвела перед нами, варварским народом, огромную плотину, не допуская к нам свой греческий язык и не давая нам этот язык как единый язык Церкви. Велико было искушение обрести до времени совершеннолетие, и потому мы столь рано оказались предоставлены самим себе. Нам на Востоке вы с Запада, может, потому и кажетесь всегда поколением молодых…

– Коль скоро мы названы молодыми, может, нам будет позволено задать один неделикатный вопрос, – неожиданно прервал беседу чиновник с разделенными усами, обратившись к праигумену: – Чем, святой отец, по сути, живет ваш монастырь?

– Тот, кто столько веков назад основал его и купил для него землю и воду, – звучал ответ, – постарался и нас обеспечить всем необходимым, и поныне остается так. Как видите, и сегодня мы ужинали благодаря его мукам и поту и не ляжем спать голодными…

– Добавим же немного дня в ночь, – повернул отец Лука разговор на шутку и долил воды в вино, однако свой стакан оставил пустым. – Всем, конечно, дозволено угощаться сколько желаете, – продолжил он словно бы в свое оправдание, – но мы здесь – наверное, вы обратили внимание –

накладываем еду дважды и доливаем вино дважды. Никогда один раз и никогда – трижды. И книгу, если от нее ждешь чуда, следует читать дважды. Один раз следует прочитать в молодости, пока вы моложавее героев, второй раз – когда вошли в возраст и герои книги стали моложе вас. Тогда вы увидите их с обеих сторон, да и они смогут учинить вам экзамен с той стороны времени, где оно стоит. Это значит, впрочем, что иной раз бывает вообще поздно читать какие-то книги, равно как иной раз бывает вообще поздно идти на покой…

Ужин закончился, хлеб на столе словно бы постарел, гости поднялись и выходили вдоль лавок, упираясь пальцами один в спину другого.

Однако после ужина никто не пошел отдыхать, как вроде бы предложил отец Лука. Напротив, прошел слух, что гусляр дает концерт. Гости поднялись на следующий этаж и собрались в широком проходе, по которому гулял такой ветер, что мог расплести косу, стоило высунуть голову в окно. В ожидании Свилар поведал отцу Луке, как недавно был спутником гусляра, и упомянул про песню о беге, услышанную от гусляра. О том турке, который, подобно отцу Луке, держал собак и имел сыновей, которых прочил монастырю, а монахи мудро порешили и вернули их отцу.

– Нельзя верить каждому слову буквально, – заметил отец Лука с улыбкой, и нос с фырканьем защемился между его глазами. – Песня – она и есть песня: как вода, никогда не стоит на месте и, подобно воде, идет от уст к устам. Не сто-

ит думать, что она способна всегда утолить ту же жажду и погасить тот же огонь. Нам говорят, что мы видим звезды, которых давно нет, но не знают того, что и вода, которую мы пьем, давно выпита. Что я вам могу сказать о песнях? В действительности с сыновьями бега все было подругому. Их приняли в монастырь, однако скоро обнаружилось, что молодые люди потеряли чувства в своих кельях. Им оказался непригоден здешний климат, их убивали плесень и пыль вокруг монастыря, – совсем как у вас, смею заметить. Полумертвых, носы и уши залиты воском, а глаза – медом, вернули их отцу с напоминанием, что Бог их не принимает. А в песне все куда красивее и иначе, у нее вырваны зубы, как у змеи, чтобы не укусила…

И отец Лука прервал речь, достал из кармана маленькую рукописную книжицу, понюхал ее, потом протянул Свилару, и тот чихнул.

– Вот видите, – воскликнул он. – Болезни подобны разным платьям, господин мой: человек надевает их, когда нужно, и снимает, когда можно, потому в жизни редко случается оказаться нагим. Как знать, от какой напасти и еще больших бед защищают человека болезни! Подумайте об этом! Между нами и великими таинствами, по сути, находится только наша хворь. Легче заболеть, чем познать истину. Ваша болезнь здесь очень активна.

Очевидно, она хочет вас от чего-то уберечь и защитить, как защитила и спасла от некоей трудной правды здесь же

сыновей бега Карамустафы. Поэтому будьте внимательны к своим болезням и в снах, а уж тем более наяву. В них всегда есть нечто, что они вам сообщают…

В этот момент появился гусляр, сел на стоявший отдельно стул, в помещение внесли лампу, и пламя свечей на столе поблекло. Неожиданно он сделал петлю на струне, протянул губами ее через чеку и зубами подтянул гусли. Затем из носка достал кусочек смолы, натер им смычок и запел. Песня его называлась

## ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЙОАНА СИРОПУЛОСА

На границе между Грецией и Болгарией, неподалеку от Скантеи – где живут такие нищие семьи, что шапка там переходит по наследству, палец сосут до смерти, а топоры изъедены, точно серпы, – жена Феодосия Сиропулоса, грека, родила мальчика, и нарекли его именем Йоан. На сороковой день, когда у младенца открывается третий глаз, тот, что на темени, пришел в дом к ним болгарский монах, последователь Восточной церкви (а этой Церкви принадлежали и они сами), и положил в изголовье младенцу золотой, а родильнице принес приданое, заготовленное для свадьбы. Одарив всех, сел у очага и произнес:

– Нос и уши растут до самой смерти, а имя и борода и после того. Пришел я купить имя младенцу…

Родители сказали, что Йоана именем уже нарекли, однако священник ответил, что это ему не мешает. Он только в книгу, которую принес с собой, запишет, что дитя крещено и с родительского благословения будет вписано не как Йоан Сиропулос, грек, но под своим новым именем – Йован Сиропулов, болгарин. Отец ребенка, который никогда не видел дуката и всегда жил там, где десять хлебов пекли на день, где говорили на двух языках, а пили из одной чаши, пришел в удивление. Однако все-таки с предложением не согласился.

– В жизни, – сказал он, – все зависит от двух вещей: от крови и от смерти. – И не дал согласия.

Так Йоан стал греком – сначала ростом с козу, а там дорос и до посоха и до сводчатого потолка. Нужно было определять его в торговцы, если он хотел хлеба с маслом, а в воду – добавлять вина.

Однако по губам текло, да в рот не попадало, ибо старшие младших держали на побегушках и никогда не давали им в руки бритву и деньги одновременно. Йоан по бедности продавал свои волосы: стоя на базарной площади, демонстрировал, как ловко может завязывать их в узел, и, когда подходили заказчики, срезал до последней пряди. Улыбка его все больше усыхала, пока однажды утром не пропала вовсе, и тогда опять появился тот болгарский священник и сказал:

– Хочешь, чтобы ты носил свою дорогу или чтобы дорога носила тебя? Выбираешь первое – иди, но знай,

доколе дойдешь – до дыр в опанке. Выбираешь второе – получаешь, как говорится, бери, что дают, – и опять предложил дукаты.

И Йоан принял предложение. Перешел в болгары, чей язык и так знал, и записался как Йован Сиропулов.

«Вовсе этот болгарский поп и не отступник, – думал он, – а нашего закона человек, и такие, как он, только греки, тоже, наверное, ходят и записывают болгар в свои греческие книги».

Так Йоан Сиропулос с помощью болгарских священников припрятал свой родной язык, перенял болгарский, включился в некое другое время, где воды иначе текут, накопил добра, продавая соленое мясо, женился и обзавелся детьми, нося постоянно свое другое, болгарское имя и передавая его своему потомству. Теперь они были Сиропуловы.

Тем временем случилась на границе стычка между болгарами и греками. Йован Сиропулов собрал сыновей, положил перед ними четыре сабли и сказал:

– У кого глаза целителя и могут глядеть в нарыв на ладони, пока рана не затянется, тому не нужно оружие. Но кому не дано такое, должен нарыв тот срезать. Стало быть, держите сабли за эфес, коли не хотите их за лезвия держать…

И пошли они на греков. В бою греки тяжело ранили Йована Сиропулова, принесли сыновья его домой на овчинном тулупе, который привязали к своим поясам. На смертном одре позвал Йован жену и детей. И велел им привести ему греческого попа, чтобы

исповедал, наказал похоронить на греческом погосте и чтобы на кресте написали его греческое имя.

Изумились сыновья такому желанию, но убивать мертвого не было никакого смысла, потому они только спросили, что это он вытворяет. А он им спокойно отвечает:

– Лучше пусть умрет один из них, чем один из наших.

Так на Йовановой могиле появилось его первое имя – Йоан Сиропулос, которое и по сей день стоит.

Он родился и умер греком.

# 5
# *Хиландарские одиночки, по прозванию идиоритмики* (На небе царило созвездие Гончих Псов)

*Хиландарские одиночки, по прозванию идиоритмики, обрели славу и мощь во времена, когда авторитет хиландарского игумения (а это была Пресвятая Богородица) достиг вершины. Ибо все святогорские отшельники испокон веку исповедовали культ Пресвятой Девы Богородицы, а хиландарцы еще к тому же и культ своего храма Введения, посвященного Богородице Деве. Взращенные под знаком Девы Богоматери и связанные с Ее домом, одиночки всегда заботились об омолаживании монастырской братии, были хорошими педагогами и пеклись о новообращенных, потому что идиоритмия – обособленная жизнь монаха – в самом деле была вещью несравнимо более легкой и привлекательной, нежели тяжелый порядок совместной жизни общинников. Если жизнь одиночек можно сопоставить с жизнью большой семьи в доме под крылышком матери, то другой, общинный уклад можно представить как жизнь в семье, состоящей из одних мужчин – отца и сыновей.*

*Одиночки при монастыре могли брать земли сколько душе угодно, каждый день выжимали из косицы на шее по чашке пота и на монастырских угодьях выращивали пшеницу и оливы, пекли хлеб, а при воде были рыбаками, сооружали ирригационные системы и, когда нужно было молить о дожде, молились. Жили они каждый в своем платье и питались своим хлебом, у каждого была своя келья с очагом и своя отдельная трапеза, домашний скарб и ложе, у каждого свой огонь и своя соль, свой садик и в нем – своя Сербия со сливой и прудиком в ограде. Они сами готовили себе еду и за свой счет нанимали слуг из греков, чтобы те их обстирывали и собирали урожай. У них никогда не было общих интересов, ибо каждый жил сам по себе, сам себя стриг и сам себе плел косицу, и вряд ли они были знакомы между собой. Поэтому не было у них ни общего недруга, ни общих стычек.*

*Поэтому-то они никогда не были солдатами и не были привычны к войнам, хотя на Святой горе порой еще как случалось перевернуть крест, дабы получилась сабля… Но если монастырь беднел настолько, что ему грозило угасание, тогда все монахи переходили на идиоритмию и мало-помалу усердием выбирались на ровную дорогу, на следующую стезю, отмеченную пóтом. Одиночкам принадлежали всенощные богослужения, установленные во времена гонения икон, и спинной хребет для них оставался символом человеческой жизни. Они легко и обильно учили иностранные языки и быстро приспосабливались к интернациональной Кон-*

*стантинопольской патриархии, управлявшей Святой горой. Шли в святогорскую монашескую школу, где изучали греческий, платили армянским монахам из Ивирона, чтобы поучили их армянскому (за каждую сотню выученных армянских слов давали по голубю), а русский учили сами, посещая русские монастыри на Святой горе, где долгими ночами в пост слушали украинских монахов и иконописцев, которые за послушанием читали русские стихи. Хиландарские одиночки и сами были иконописцами, и на них лежало омовение икон вином, ради их лучшей сохранности, и обновление запасов монастырских «святых образов», они же должны были икону отпеть и схоронить, когда придет ее срок.*

*С иконой Богородицы на стене, сквозь время пронесли они и свои слабости, а те проистекали из их основных послушаний. А послушания эти опять же были наследованы от греческого и синайского монашества. Будучи испокон веку сторонниками икон, одиночки порой впадали в идолопоклонство и с легкостью воспринимали античное многобожие Греции и ее платоновское учение. И сегодня одиночек проще всего узнать по тому, что они не терпят друг друга. Имен не поминали, напротив, старались забыть имена окружающих, норовили даже собственное имя стереть из памяти. Периодически одиночки уходили в «безмолвие» – трудный отшельнический обет молчания – и годами не произносили ни слова, до тех пор, пока коса не отяжелеет и уши не заболят от молчания. А то произносили только имена существи-*

*тельные, ибо они шли от Бога, и избегали глаголов, которые принадлежат сатане. По той же логике были они (когда не молчали) знаменитыми проповедниками. Иногда – и это считалось лучшей проповедью – их речь состояла из одного-единственного слова, способного перевернуть души тех, кто слушал. Ибо они полагали живое слово – реченное – прапачалом и прапричиной всего сущего. А слово писаное – тенью человеческого голоса, отображением речи на бумаге, являющимся лишь – напоминали они – семенем для борозды, которое высеивается не ради того, чтобы насытить, но для того, чтобы украсить поле и порадовать глаз. Поэтому если и были писатели, друг друга они никогда не читали. Наоборот, произнесенная речь – это семя для живой земли, для слуха человека и его души, она оберегает и лечит, и ей, чтобы родиться и принести плод, необходимо, совсем как женщине и ниве, три четверти года.*

*Связанные с дарами земли, одиночки имели одну великую любовь. Для них перспектива внешнего и зримого была всегда весьма значима. Культ храма Пресвятой Девы, которая родила Христа, совсем как ночь родила день, у них был сильнее культа народа, от которого они произошли. Для них монастырь со своими стенами, многочисленными церквами, со своими погостами, башнями и пристанями являл тело Господне на земле, и они были привязаны к хиландарским крепостным стенам и иконе Богородицы, как кошка к дому и хозяйке. Они знали, что монастырь возник под эгидой*

*времени, но верили, что он эту эгиду давно скинул. Они оберегали и любили его и ни за что на свете не отреклись бы ни от единого камешка в нем. Все, что они делали, они подчиняли этому главному принципу.*

На небе царило созвездие Гончих Псов в знаке Сириуса. Небесная знойная вонь погружалась по щиколотку в землю. В дни, когда Солнце оборачивалось к Земле и три женских дня прикрывали мужские дни, собачий укус становился ядовитым, а ароматы, в которые превращались цветы, колыхались над морской пучиной словно туман, портя рыбу, и ее икра отдавала медом. Дующий издалека горячий ветер бил в паруса и прожигал в них дыры. В такое время ухаживать за растениями было бесполезно, даже капустный салат, который обычно достаточно было сунуть в землю на вершок, чтобы вырос, на таком солнце дичал. Хищные птицы в эту пору выклевывают глаза своих жертв, которых убивают, сбросив на них камень с высоты. Из этих глаз (в которых отражались солнца промчавшихся лет) вбирают они все огромное тепло, а в гнезда свои приносят мрамор, зная, что он сохраняет прохладу, иначе сварились бы яйца с птенцами. Голуби в такую пору задыхаются в волнах ароматов и ищут камень, который не тонет (о таком знают только они), и плывут на нем, отдыхая. Семя мужчины тогда густеет, он жует лишь трижды за обед, и огромная сила желаний в такие дни у него превращается в ненависть. Сенная лихорадка тогда обостряется

и становится глубокой, словно бездонный колодец.

Уже в первое же хиландарское утро Афанасию Свилару стало очевидно, что он попал в западню запахов. Ему казалось, что он не живет, но кто-то другой видит его во сне, и это не человек, а некое животное или растение. Он умылся ракией, глянул в зеркало и подумал: словно родная мать отпустила бороду…

Он знал: утром, чтобы выжить, нужно спуститься на берег, там подышать пеной и солью, испить пучины, потому что именно там травы моря ведут борьбу с травами суши и могут взять его под защиту. Ему дали мула, он смочил слюной глаза и направил животину вдоль ручья. Приходилось пробиваться сквозь стену зелени, которая протянулась между монастырем и гаванью. Он погонял животное сквозь запахи и цветочную пыльцу, которая колыхалась на солнце, и волосы его, забитые платановыми семенами и сережками вербы, невыносимо кусали уши и царапали лоб. Однако Свилар так и не пробился к берегу этим ручьем.

Вскоре перед ним возник деревянный ларь, поставленный поперек воды, словно мост. Над ларем между стволами деревьев был натянут холст, а в ларе, обутый в нарядные опанки, лежал старик, опираясь затылком на монашескую косицу, словно на свернувшуюся клубком змею. Опанки были обуты задом наперед: приходя, оставлял след, словно бы уходил. По ним Афанасий сразу узнал старика и догадался, кем был вчерашний собиратель ольховой коры. Негоже было упус-

кать случай, и Свилар спешился. Зачерпнул пригоршни воды, обрызгал дикие хлеба вокруг себя, чтобы погасить силу пыльцы, и сел на лавку рядом со стариком.

Какое-то мгновение разглядывал седые ресницы на его лице цвета черного хлеба.

«Как узнаю, не спит ли?» – подумал Свилар и ощутил сильный запах – словно бы застарелой мочи.

– Здесь известно, зачем ты пришел и кого ищешь, – сказал ему монах и открыл глаза, – я давно тебя жду, и кажется мне, что ты не слишком рано пришел. Однако и вы там не ногами хлеб месите, есть причины и на то…

Старик поднялся и указал Свилару на небольшой сад вблизи ручья, три вершка земли, не больше. В нем были собраны разные растения вперемешку: алтей, фиалка, анис, незабудка, анютины глазки, солодка гладкая, ирис, ежевика, сушеница, волчья ягода, иван-чай, лаванда, алоэ, ромашка; все это росло вместе – цветы с бурьяном, чай с травами. И Свилар опять ощутил сильный запах смешанных ароматов, словно бы застарелой мочи.

– Это твой сад, – сказал ему монах, – вообще-то, каждому надо где-нибудь иметь такой сад. Я ухаживаю за ним вот уже три десятка лет, с тех пор, как твой отец здесь завершил свой путь. Мы знаем, как тебя зовут, потому что он тебя помнил и посадил этот сад, прежде чем отошел в мир иной и оставил тебя сиротой. Он был отменный травник. Посмотри, ты не найдешь здесь ни одной травинки, кото-

рая бы не начиналась с буквы имени, которым ты крещен. Здесь в прямом смысле слова твое имя вписано в растения. Все твои мысли, желания, поступки здесь проросли, расцветали и никли вместе с цветами или сорняками. По виду растения и аромату ты, пожалуй, и сейчас можешь угадать свои поступки, решения, слова, добрые и дурные дела. Добрые поступки были бурьяном, а плохие – цвели и благоухали, потому как хорошее завсегда идет вместе с плохим, а красота – со злом. Я вот всегда по растениям знал, как поступаю и как себя чувствую…

Монах на минуту примолк, и кожа у него на лбу задрожала, словно отгоняя мух. По сути же, он отгонял от себя мысли.

– Наверное, монахи присоветовали тебе обратиться ко мне, и я попытаюсь тебе объяснить, почему все, что случилось здесь с твоим отцом, майором Костой Свиларом, случилось именно так и почему не могло случиться никак иначе.

Здесь – ты, может, приметил – нас как бы два сорта. Все мы чада своих слез, потому что слезы всегда старше нас, но во всем остальном мы делимся на два рода-племени. Одни варят на общем огне в больших монастырских кухнях под дымоходом, где можно стоять, настолько он просторен. И едят, и стирают белье, как в армии, – в общем котле. Нет у них ни своей пуговицы, ни волоса, ни бороды, словно у гусей, у которых нет своего пера, ибо оно предназначено

для подушки или еще для какой надобности. Для них братия, паства Христова, – превыше храма.

Другие готовят всяк для себя, свой боб в своем горшке, в обители каждый из них имеет свой садик, за которым сам ухаживает и сам собирает урожай с него. Эти, другие, живут одиноко, словно в пустыне, и привязаны к храму, а не к братии. К стенам крепости и церквам хиландарским.

Одни от других они отличаются и показывают, мол, не все равно, под каким ты созвездием живешь: Рыб ли, Девы ли. Где-то перед войной, году в сороковом, когда птицы неслись прямо в воздухе, настоятель в Хиландаре был выбран из одиночек. Святость храма Пресвятой Богородицы была для него превыше всего, и он, засучив рукава, принялся радеть о монастырском хлебе. Наделен он был легкой рукой, оттого пшеница да рожь всегда держались в закромах. Возделывая оливы, осенял себя крестом и возносил молитву: «Богородице Дево, радуйся, гору Афонскую освятившая Своим благодатным присутствием».

Работал он обеими руками одновременно и левой мог наливать ракию, а правой – масло, и не проливал; умел он готовить еду, высаживал деревья вдоль дороги таким порядком, что тень от них в знойный полдень падала именно на дорогу. По ночам он любил обходить хиландарскую обитель, слушать пение монахов-общинников, а негодуя, мог сам погнать рогатиной буйволов-шкодливцев с поля, не сходя с вьючного седла. После него остался рукописный словарь вздохов в ста-

рославянских молитвах восточного извода. По весне поправлял запруды и рыл отводные каналы вокруг монастыря и служил всенощные, вымаливая, чтобы нещадные сырость да туман, по которым монастырь получил свое имя, не одолели его совсем. Он был из тех, для кого небо – для птицы, а вода – для рыбы. Его проповеди, где каждое слово – что ломоть теплого хлеба, помнили все монахи великого афонского братства. А были эти слова крепки, короче одной фразы подчас, зато ценились столь высоко, что ту фразу знала на память вся Святая гора, чуть только она была произнесена, хотя никогда никто ее не повторил. Оставалась общей тайной.

Однако поступки человека что лоза виноградная: ко времени и не ко времени выпускает росток, не ведая, с морозом ли, с солнцем ли встретится… Так было во времена, когда и камни росли. А потом камни расти перестали. Пришла война, Грецию заполонили немецкие войска, и тот наместник-одиночка дорого заплатил за свою любовь к монастырю. Ты должен знать, что он твоего отца, как и других офицеров из Югославии, принял и укрыл здесь, в обители. Как-то между тем во время женской трапезы (когда едят монахи-одиночки) в монастыре появился немецкий капитан с двумя унтер-офицерами и десятком солдат. За кофе, который по этому поводу был приправлен мастикой, завязался такой разговор.

– А что, господин капитан, вы пришли сюда с суши или с моря? – спросил для начала настоятель.

– Почему вы спрашиваете, святой отец? – ответил вопросом на вопрос капитан.

– Если вы идете с суши, тогда в рюмку мастики доливают несколько капель воды и так пьют. А коли идете с моря, где вас умыло солнце, а волны добавили ветра, тогда, напротив, в стакан с водой нужно плеснуть мастики. Тогда жидкость превратится в туман и дымку, ароматную и пенистую. Все это следует выпить до капли, и утомление и головокружение как рукой снимает.

Капитан на это ничего не ответил, однако влил несколько капель воды в мастику и выпил. Так настоятель понял, что дела обстоят плохо и что немец пришел по суше, – стало быть, тем же путем, которым пришли и беглецы с албанского фронта. Шел по их следу.

Немец задал прямой вопрос настоятелю, не прячутся ли у него военные беглецы из Югославии. Получив отрицательный ответ, встал, дождался, пока краска, разлившись по лицу, стекла в уши, и сказал:

– Я, святой отец, испытываю необычайное уважение к этому месту и вашей святой обители, но сейчас идет война, и мы лишь авангард целой армии. Если я не получу точного ответа, я прикажу солдатам обыскать монастырь и найду беглецов, о которых мне известно, что они находятся здесь, что их трое, что все они офицеры, которые причинили урон нашим силам в этой войне. В том случае, если их не передадите мне вы и я должен буду искать их сам, я прикажу Хиландар спа-

лить. За вами решение…

Беда твоего отца и того настоятеля состояла в том, что монах был идиоритмиком, принадлежал укладу отшельников, тех, кто оберегал монастырь и ставил его превыше всего на свете, и поступок этим был предопределен. Если бы он был из тех, других, которые пребывают здесь в общинах и не столь заботятся о Хиландаре, не случилось бы того, что должно было случиться… Я тебе об этом не стану рассказывать, потому как конец может досказать любой монах из тех, кто в то время пребывал в обители…

Монах резко оборвал рассказ, достал из своего ларя-гроба стеклянную банку и протянул Свилару.

– Это мед, который пчелы собрали в твоем саду. Возьми его и ешь. Может, он поведает тебе о том, что ты делал и что следует тебе делать. Я не знаю…

Монах перевернул посох так, что тонкий конец оказался под рукой, наморщил лоб, отогнал мысли и двинулся прочь, ступая пальцами в пятки своих перевернутых опанок. Травы сеяли за ним золотистую пыльцу наподобие молотого ореха и запорошили следы его перевернутой обуви. Между Свиларом и ним протекала вода и свирепела сенная лихорадка; казалось, что старик приближается, хотя он уходил. Свилар бежал к монастырю, гоня впереди себя пахучие пассаты. На миг он поднял голову, посмотрел на солнце и подумал, что его взгляд все еще будет стремиться к солнцу и тогда, когда сам он будет мертв.

Следующую ночь в Хиландаре Свилар спал. И сон его был целый, как горшок. Он только чувствовал, что руки настолько холодны, что от них стыло лицо, и во сне он держал подальше от головы свои ледяные пальцы.

Однако назавтра этот его сон вышел ему боком – уж лучше бы он провел бессонную ночь. Сенная лихорадка, пока он, уставший, спал себе, наяву делала свое дело. И она его сделала.

На Святой горе нет ни врачей, ни лечебниц, больные помещаются в отдельные кельи и получают своего рода отпуск по болезни и совсем немного помощи: молодые иноки готовят им еду или теплый напиток – кофе с лимоном и тому подобное. Там они прислушиваются к крохотному отрезку времени в себе и к тому огромному целому времени, что снаружи, и ждут, которое возьмет верх. Им еще дозволяется, что в Хиландаре, вообще-то, не было принято, завтракать. Так поступили и со Свиларом. Ему дали соты темного и твердого хиландарского меда, который ломается, но не мажется, и немного вина в ступе, настоянного на толченом черном перце.

В тот, третий, день он в изнеможении сидел в старой, времен Неманичей, монастырской трапезной, которая смотрела на врата храма Введения Богородицы, и пил теплое вино вместо завтрака. Смазывал медом ноздри и разглядывал стену, расписанную сценами из жизни святого Саввы, осно-

вателя монастыря. Солнце входило в помещение и неспешно озаряло одну за другой эти картины из княжеской жизни, следуя от сцены смерти к рождению, потому что солнце всегда идет от смерти к рождению…

Завтрак закончился, когда в трапезную вошел крупный рыжий монах, весь словно бы проржавевший. Хотя Свилар и никогда не видел его, он сразу узнал отца Варлаама, того второго монаха, рекомендованного ему по приходе в обитель. Человек с глазами голубыми, словно напоенными морем и солью, стоял перед Свиларом подстриженный, без горшка на голове. Голос у него был такой зычный, словно он прибыл прямо с корабля. Глаза у монаха прикрывались, совсем как у птицы, нижними веками, ногти, заостренные и крепкие, источали непонятный запах, и еще у него были гнилые зубы, которые ужасно болели, и потому он непрестанно тихонько поскуливал. Когда он говорил, из глубин его огромного тела доносились необычные звуки, похожие на удаленное, будто из-под воды, кукареканье петухов, будоражащее его печень и легкие. Голову, словно рой мошкары, обволакивала перхоть, она осыпала плечи и покрывала волосы нимбом. В обуви отец Варлаам проделал отверстия наподобие прорези для своих подслеповатых глаз, и при ходьбе было слышно, как его ногти, проросшие сквозь носки, царапали пол. На одну, левую, ногу он хромал, и она была словно смочена другим по́том, чем правая, источая совсем иную вонь, похоже аммиачную и куда более сильную, чем ее на-

парница. Крепкий и страшно соленый пот разъел рясу у воротника и под мышками, а снизу же ее прожгло неиссушимое семя, которое он рассыпал на ходу, сжигая все, что орошал. Говорил он с трудом ворочая языком. Жил, ел, дышал и спал с превеликим усилием, словно сооружал пирамиду где-то внутри себя.

– Все они для мира погибли и в пустыне не спаслись! – изрек он и закинул прядь волос, словно привязывая ухо. – Я вспоминаю сорок первый год, когда пришел ваш отец сюда, ветра были сильные: одежды сдирали и до костей бичевали. По такому ветру и пришел ваш отец, майор Свилар, с двумя товарищами, пришли расхристанные, словно их вихрь принес. Теми раскаленными тропами столетиями никто не приходил в обитель, потому как здесь все дороги ведут к морю. Вот на границе их никто и не увидел. В монастыре их приняли, приютили и угощали, как всякого другого гостя, потому как для путника испокон веку здесь все бесплатно. Ваш отец, майор Свилар, был в бороде, густой, ровно мох, а голос имел столь внушительный, что его нельзя было заглушить. Сюда он приспел уже обученный церковному пению, ныне редкому и необычному, ибо не обучают этому в консерваториях, где осваивают лишь западный извод церковного песнопения. С нами, несколькими общинниками, которые жили в обители, он сразу сошелся и без усилий включился в нашу жизнь, хотя мы тогда не имели тут превосходства, а настоятель и все прочие были одиночниками, о чем вы, наверное, уже наслы-

шаны. Ваш отец черпал вино, сдабривал его черным виноградом и переписывал монастырскую библиотеку, выискивая между страницами старых книг вложенные туда как закладки травы или цветы из семнадцатого и восемнадцатого веков, потому как его привлекали растения. Он брал росток, зажмурившись, и сажал в землю, стоя на коленках, в маленьком садике у ручья. После чего с еще большим удовольствием пел в церкви раннюю обедню.

Именно этот его удивительный голос, похоже, и стоил ему столь дорого. Как немецкие власти узнали, что на Святой горе находятся беглые офицеры, трудно сказать. Скорее всего, те сами себя выдали. Думается, на последнем ночлеге перед Святой горой майор Свилар пренебрег осторожностью. Он был в местной церкви, слушал пение и, говорят, сказал: «Кто от страха обмирает, у того душа умирает», – и прочистил горло; словно с небесной выси спустился его голос в храм, и запел он славянскую литургию во время греческой службы, так что даже глухие поняли, что это не болгарский распев и среди паствы на вечерне беглецы из Сербии. Это их и выдало. Немцы пришли по тому следу к нам в обитель и поставили тогдашнего настоятеля перед выбором – или Хиландар, или беглецы. Мы, общинники, боялись в равной мере и того, что сделают немцы, и того, как должен поступить настоятель. Ибо знали его натуру и природу отшельничества, к которому он принадлежал. Всем своим долгим воспитанием он был накрепко привязан к хиландарскому храму Ввe-

дения Богородицы, к монастырю и всему в нем, и вообще у него не было выбора. Он не раздумывал ни минуты, ибо волосы под мышкой не суть ангельские крылья. Он признал, что в обители укрываются трое военных, беглецы из Югославии, что они офицеры, и уже когда выходил из комнаты, мы видели, как у него после того признания глаз вышел через пробор на темени. Сбегали мы в ночлежку, отыскали беглецов, спрятавшихся в брюхе огромной бочки, подстригли их, одели в монашеские рясы и проводили из монастыря.

Здесь монах подошел к Свилару и положил перед ним узелок. В нем Свилар нашел офицерский мундир своего отца, а в кармане – прядь отцовских волос с записочкой, где тридцать пять лет назад было написано: «Когда кто-нибудь осушит чашу, помяните Косту, не жалейте вино, оно – за меня».

– Что потом стало с беглецами, – продолжил монах рассказ, – не могу вам сказать. До ужина офицеров из Югославии не нашли, хотя немецкий капитан обыскал каждый уголок обители, заглядывал даже в большие часы в переходе. Сразу же отправил погоню, но, погибли ли офицеры от рук неприятеля, никто не знает, хотя все в монастыре слышали из леса выстрелы. Настоятель за трапезой в тот день долил ракии в вино капитана и смирился духом. Согласился с тем, что от него требовалось, и тем защитил монастырь. А найдены беглецы, нет ли – это уже, полагал он, не наше дело. Однако это было наше дело, потому что мы разжаловали настоятеля из-за его поступка. Наверное, он не поступил бы так,

будь меньше привержен монастырю, я имею в виду ту, земную, часть монастыря. Ибо подлинный монастырь – не стены, но его святое братство в нас. Только отшельники так не думают, а беда настоятеля заключалась в том, что был он одиночкой. А у них как у кошек: девять змей убивает кошка, зато десятая – кошку.

С той поры бывший настоятель больше не останавливается в обители, а плутает по Святой горе, носит пояс и опанки задом наперед, чтобы сатана не узнал его, кидает камни впереди себя на дорогу и тем уведомляет о своем приходе, и тот, кто его не хочет встречать, может укрыться. Он служит литургии по церквам вместо занемогших монахов и только раз в году приходит сюда, в Хиландар, на водосвятие, на Великую агиасму в ночь перед Богоявлением. Тогда он склоняется перед иконой Богоматери и шепчет: «Все упование наше на Тя возлагаем, Мати Божия…» Он возжигает по три свечи, но каждую отдельно, не одну от другой, страшась, что недодаст света, предназначенного другому, и чтобы, озаряя пламенем одного, не оставить других во мраке. А вместо постели каждый год вытесывает три домовины, красит их ольховой корой в черный цвет и в них по очереди спит…

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.